Виктор Астафьев



Весенний остров

Виктор Астафьев Весенний остров

Виктор Астафьев



рассказы

ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕРМЬ — 1964

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Художники
Ю. ЛИХАЧЕВ (рисунки в тексте)
и Е. НЕСТЕРОВ (обложка и титулы)

Виктор Петрович Астафьев входил в литературу как детский писатель. Шесть из его первых десяти книг прямо адресованы юному читателю. Сейчас у Астафьева вышло уже больше двадцати книг — в Перми, Свердловске, Москве, он печатался на английском, французском, чешском, польском языках. Он по-прежнему с охотой и любовью продолжает работать для ребят. В этой книге собрано почти все, что написано Виктором Петровичем о детях и для детей.

Виктор Петрович родился 1 мая 1924 года в деревне Овсянке под Красноярском. Потом жил в Игарке. Рано потерял мать, беспризорничал, попал в детдом. Окончил школу ФЗО и начал работать составителем поездов.

В 1942 году добровольцем ушел на фронт. Всю войну прошел солдатом, был ранен. Демобилизовавшись, с 1945 года жил в г. Чусовом Пермской области. Работал грузчиком, плотником, разнорабочим. Но где бы он ни был, он всегда много читал и его всегда тянуло писать. «...Я твердо знаю одно — заставили писать меня книги и жизнь. Я всегда и всюду много читал... Масса встреч, масса впечатлений, множество событий, разных, приятных и неприятных, — все это откладывалось где-то, накапливалось потихоньку, пока не попросилось «наружу», — писал о себе В. Астафьев.

Стал работать в газете «Чусовской рабочий», в областном радиокомитете. В 1953 году издал первую книжку — сборник рассказов «До будущей весны». Теперь Виктор Петрович профессиональный писатель, живет и работает в Перми.

В одном отзыве на рассказ В. Астафьева «Далекая и близкая сказка» (рассказ был напечатан в «Огонь-

ке» и получил там годовую премию за 1963 год, отзыв тоже публиковался в «Огоньке») писалось, что рассказ этот покоряет глубоким знанием человека, близостью писателя к природе, особым колоритом, мощью, хорошо известными уральцам и сибирякам. Эта характеристика очень подходит и ко всему творчеству Виктора Петровича, в том числе и к его рассказам, предназначенным для юного читателя.



Корни таежные

*КОРНИ В ЗЕМЛЮ УХОДЯТ,
КОРНИ КАМЕНЬ ДРОБЯТ.
С УВАЖЕНЬЕМ В НАРОДЕ
О КОРНЯХ ГОВОРЯТ.*

Юрий Сбитнев



ВАСЮТКИНО ОЗЕРО

Это озеро не отыщешь на карте. Небольшое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки. Еще бы! Мала ли честь для тринадцатилетнего мальчишки — озеро, названное его именем! Пускай оно и не велико, не то что, скажем, Байкал, но Васютка сам нашел его и людям показал. Да, да, не удивляйтесь и не думайте, что все озера уже известны и что у каждого есть свое название. Много еще, очень много в нашей стране безымянных озер и речек, потому что велика наша Родина и, сколько по ней не броди, все будешь находить что-нибудь новое, интересное.

Рыбаки из бригады Григория Афанасьевича Шадрина — Васюткиного отца — совсем было приуныли. Частые осенние дожди вспучили реку, вода в ней поднялась, и рыба стала плохо ловиться: ушла на глубину.

Холодная изморозь и темные волны на реке нагоняли тоску. Не хотелось даже выходить на улицу, не то что выплы-

вать на реку. Заспались рыбаки, рассолодели от безделья, даже шутить перестали. Но вот подул с юга теплый ветер и точно разгладил лица людей. Заскользили по реке лодки с упругими парусами. Ниже и ниже по Енисею спускалась бригада. Но уловы по-прежнему были малы.

— Нету нам нынче фарту, — ворчал Васюткин дедушка, Афанасий. — Оскудел батюшко Енисей. Раньше жили, как бог прикажет, и рыба тучами ходила. А теперь пароходы да моторки всю живность распугали. Придет время — ерши да пескари и те переведутся, а об омуле, стерляди и осетре только в книжках будут читать.

Спорить с дедушкой — дело бесполезное, потому никто с ним не связывался.

Далеко ушли рыбаки в низовья Енисея и, наконец, остановились. Лодки вытащили на берег, багаж унесли в избушку, построенную несколько лет назад ученой экспедицией.

Григорий Афанасьевич, в высоких резиновых сапогах с отвернутыми голенищами и в сером дождевике, ходил по берегу и отдавал распоряжения.

Васютка всегда немного робел перед своим большим, неразговорчивым отцом, хотя тот никогда его не обижал.

— Шабаш, ребята!—сказал Григорий Афанасьевич, когда разгрузка закончилась. — Больше кочевать не будем. Так, без толку, можно и до Карского моря дойти.

Он обошел вокруг избушки, зачем-то потрогал рукой углы и полез на чердак, подправил съехавшие в сторону пластины корья на крыше. Спустившись по дряхлой лестнице, он тщательно отряхнул штаны, высморкался и разъяснил рыбакам, что избушка подходящая, что в ней можно спокойно ждать осеннюю путину, а пока вести промысел паромами и переметами. Лодки же, неводы, плавные сети и всю прочую снасть надобно как следует подготовить к большому ходу рыбы.

Потянулись однообразные дни. Рыбаки чинили неводы, конопатили лодки, изготовляли якорницы, вязали, смолили.

Раз в сутки они проверяли переметы и спаренные сети — паромы, которые ставили вдали от берега.

Рыба в эти ловушки попадала ценная: осетр, стерлядь, таймень, частенько налим, или, как его в шутку называют в Сибири, поселенец. Но это спокойный лов. Нет в нем азарта, лихости и того хорошего, трудового веселья, которое так и рвется наружу из мужиков, когда они полукилометровым неводом за одну тоню вытаскивают рыбы по нескольку центнеров.

Совсем скучное житье началось у Васютки. Поиграть не с кем — нет товарищей, сходить некуда. Утешало одно: скоро начнется учебный год, и мать с отцом отправят его в деревню. Дядя Коляда, старшина рыбосборочного бота, уже учебники новые из города привез. Днем Васютка нет-нет да и заглянет в них от скуки.

Вечерами в избушке становилось людно и шумно. Рыбаки ужинали, курили, щелкали орехи, рассказывали были и небылицы. К ночи на полу лежал толстый слой ореховой скорлупы. Трещала она под ногами, как осенний ледок на лужах.

Орехами рыбаков снабжал Васютка. Все ближние кедры он обколотил. С каждым днем приходилось забираться все дальше и дальше в глубь леса. Но эта работа была не в тягость. Мальчишке нравилось бродить. Ходит себе по лесу один, напевает, покуривает (он потихоньку таскал у рыбаков махорку), иногда из ружья пальнет.

...Васютка проснулся поздно. В избушке одна мать. Дедушка Афанасий ушел куда-то. Васютка поел, полистал учебники, оборвал листок календаря и с радостью отметил, что до первого сентября осталось всего десять дней. Потом засобирался по кедровые шишки.

Мать недовольно сказала:

— К ученью надо готовиться, а ты в лесу пропадаешь.

— Чего ты, мамка? Орехи кто-то должен добывать? Должен. Охота ведь рыбакам пощелкать вечером.

— «Охота, охота!» Надо орехов, так пусть сами ходят. Привыкли парнишкой помыкать да сорить в избе.

Мать ворчит по привычке, потому что ей не на кого больше ворчать.

Когда Васютка с ружьем на плече и с патронташем на поясе, похожий на коренастого, маленького мужичка, вышел из избы, мать привычно строго напомнила:

— Ты от затесей далеко не отходи — сгинешь. Хлеба взял ли с собой?

— Да зачем он мне? Каждый раз обратно приношу.

— Не разговаривай! На вот краюшку. Не задавит она тебя. Спокон веку так заведено, мал еще таежные законы переиначивать.

Тут уж с матерью не поспоришь. Таков старинный порядок: идешь в лес — бери еду, бери спички.

Васютка покорно сунул краюшку в мешок и поспешил исчезнуть с глаз матери, а то еще придерется к чему-нибудь.

Весело насвистывая, шел он по тайге; следил за пометками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая таежная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдет немного, еще топором тюкнет, потом еще. За этим человеком пойдут другие люди; собьют каблуками мох с валежин, притопчут траву, ягодники, отпечатают следы в грязи, и получится тропинка. Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу у дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со временем, а уж морщинки-то на лице едва ли зарастут.

Склонность к пространным рассуждениям, как у всякого таежника, рано появилась у Васютки. Он еще долго думал бы о дороге и о всяких таежных разностях, если бы не скрипучее кряканье где-то над головой.

«Кра-кра-кра!...» — неслось сверху, будто тупой пилой резали крепкий сук.

Васютка поднял голову. На самой вершине старой взлохмаченной ели увидел кедровку. Птица держала в когтях кедровую шишку и орала во все горло. Ей так же горласто откликались подруги. Васютка не любил этих нахальных птиц. Он снял с плеча ружье, прицелился и щелкнул языком, будто на спуск нажал. Стрелять он не стал. Ему уже не раз драли уши за попусту сожженные патроны. Трепет перед драгоценным «припасом» (так называют сибирские охотники порох и дробь) крепко вбит в сибиряков от роду.

— «Кра-кра!» — передразнил Васютка кедровку и запустил в нее палкой.

Досадно было парню, что не может он долбануть птицу, даром что ружье в руках. Кедровка перестала кричать, неторопливо ощипалась, задрала голову, и по лесу снова понеслось ее скрипучее «кра».

— Тьфу, ведьма проклятая! — выругался Васютка и пошел.

Ноги мягко ступали по мху. На нем там и сям валялись шишки, попорченные кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки: пустые орехи птица даже не вынимает из гнездышка. Васютка поднял одну шишку, осмотрел ее со всех сторон и покачал головой:

— Эх и пакость же ты!

Бранился Васютка так, для солидности. Он ведь знал, что кедровка — птица полезная: она разносит по тайге семена кедра.

Наконец Васютка облюбовал дерево и полез на него. Наметанным глазом он определил: там, в густой хвое, упрятались целые выводки смолистых шишек. Он принялся колотить ногами по разлапистым веткам кедра. Шишки так и посыпались вниз.

Васютка слез с дерева, собрал их в мешок и, не торопясь, закурил. Попыхивая цигаркой, оглядел окружающий лес и облюбовал еще один кедр.

«Обобью и этот, — решил он. — Тяжеловато будет, пожалуй, да ничего, донесу».

Он тщательно заплевал цигарку, придавил ее каблуком и пошел. Вдруг впереди Васютки что-то сильно захлопало. Он вздрогнул от неожиданности и тут же увидел поднимающуюся с земли большую черную птицу. «Глухарь!» — догадался Васютка, и сердце его замерло. Стрелял он и уток, и куликов, и куропаток, но глухаря подстрелить ему еще не доводилось.

Глухарь перелетел через мшистую поляну, вильнул между деревьями и сел на сухостоину. Попробуй подкрадись!

Мальчик стоял неподвижно и не спускал глаз с огромной птицы. Вдруг он вспомнил, что глухаря часто берут с собакой. Охотники рассказывали, что глухарь, сидя на дереве, с любопытством смотрит вниз на заливающуюся лаем собаку, а порой и подразнивает ее. Охотник тем временем незаметно подходит с тыла и стреляет.

Васютка же, как назло, не позвал с собой Дружка. Обругав себя шепотом за оплошность, Васютка пал на четвереньки, затявкал, подражая собаке, и стал осторожно продвигаться вперед. От волнения голос у него прерывался. Глухарь замер, с любопытством наблюдая эту интересную картину. Мальчик расцарапал себе лицо, порвал телогрейку, но ничего этого не замечал. Перед ним наяву глухарь!

...Пора! Васютка быстро встал на одно колено и попытался с маху посадить на мушку забеспокоившуюся птицу. Наконец унялась дрожь в руках. Мушка перестала плясать, кончик ее задел глухаря... Тр-рах! — и черная птица, хлопая крыльями, повалилась вниз. Не коснувшись земли, она выправилась и полетела в глубь леса.

«Ранил!» — встрепенулся Васютка и бросился за подбитым глухарем.

Только теперь он догадался, в чем дело, и начал беспощадно корить себя:

— Мелкой дробью грохнул. А что ему мелкой-то? Он чуть не с Дружка...

Птица уходила небольшими перелетами. Они становились все короче и короче. Глухарь слабел. Вот он уже, не в силах поднять грузное тело, побежал.

«Теперь все — догоню!» — уверенно решил Васютка и припустил сильнее. До птицы оставалось совсем недалеко.

Быстро скинув с плеча мешок, Васютка поднял ружье и выстрелил. В несколько прыжков очутился около глухаря и упал на него животом.

— Стоп, голубчик, стоп! — радостно бормотал Васютка.— Не уйдешь теперь! Ишь какой прыткий! Я, брат, тоже бегаю — будь здоров!

Васютка с довольной улыбкой гладил глухаря, любуясь черными с голубоватым отливом перьями. Потом взвесил на руке. «Килограммов пять будет, а то и полпуда, — прикинул он и сунул птицу в мешок. — Побегу, а то мамка наподдает по загривку».

Думая о своей удаче, Васютка, счастливый, шел по лесу, насвистывал, пел что на ум приходило.

Вдруг он спохватился: где же затеси? Пора уж им быть.

Он посмотрел кругом. Деревья ничем не отличались от тех, на которых были сделаны зарубки. Лес стоял неподвижно, тихий в своей унылой задумчивости, такой же редкий, полуголый, сплошь хвойный. Лишь кое-где виднелись хилые березки с редкими желтыми листьями. Да, лес был такой же. И все же от него веяло чем-то чужим...

Васютка круто повернул назад. Шел он быстро, внимательно присматриваясь к каждому дереву, но знакомых зарубок не было.

— Ф-фу ты, черт! Где же затеси? — Сердце у Васютки сжалось, на лбу выступила испарина. — Все этот глухарина! Понесся, как леший, теперь вот думай, куда идти, — заговорил Васютка вслух, чтобы отогнать подступающий страх. — Ничего, сейчас пособображаю и найду дорогу. Та-ак... Почти голая сторона у ели — значит, в ту сторону север, а где ветвей больше — юг. Та-ак...

После этого Васютка попытался припомнить, на какой стороне деревьев сделаны зарубки старые и на какой — новые. Но этого-то он и не приметил. Затеси и затеси.

— Эх, дубина!

Страх начал давить еще сильнее. Мальчик снова заговорил вслух:

— Ладно, не робей. Найдем избушку. Надо идти в одну сторону. На юг надо идти. У избушки Енисей поворот делает,

мимо никак не пройдешь. Ну вот, все в порядке, а ты, чудак, боялся! — хохотнул Васютка и бодро скомандовал себе: — Шагом арш! Эть, два!..

Но бодрости хватило ненадолго. Затесей все не было и не было. Порой мальчику казалось, что он ясно видит их на темном стволе. С замирающим сердцем бежал он к дереву, чтобы пощупать рукой зарубку с капельками смолы, но вместо нее обнаруживал шершавую складку коры. Васютка уже несколько раз менял направление, высыпал из мешка шишки и шагал, шагал...

В лесу сделалось совсем тихо. Васютка остановился и долго стоял прислушиваясь. Тук-тук-тук, тук-тук, — билось сердце. Потом напряженный до предела слух Васютки уловил какой-то странный звук. Где-то слышалось жужжание. Вот оно замерло и через секунду снова донеслось, как гудение далекого самолета. Васютка нагнулся и увидел у ног своих истлевшую тушку птички. Опытный охотник — паук растянул над мертвой птичкой паутину. Паука уже нет — убрался, должно быть, зимовать в какое-нибудь дупло, а ловушку бросил. Попалась в нее сытая, крупная муха-плевок и бьется, бьется, жужжит слабеющими крыльями. Что-то начало беспокоить Васютку при виде беспомощной мухи, влипшей в тенета. И тут его будто стукнуло: да ведь он заблудился!

Открытие это было настолько простым и потрясающим, что Васютка не сразу пришел в себя.

Он много раз слышал от охотников страшные рассказы о том, как блуждают люди в лесу и погибают иногда, но представлял это совсем не так. Уж очень просто все получилось. Васютка еще не знал, что страшное в жизни часто начинается очень просто.

Оцепенение длилось до тех пор, пока Васютка не услышал какой-то таинственный шорох в глубине потемневшего леса. Он вскрикнул и бросился бежать. Сколько раз он спотыкался, падал, вставал и снова бежал, Васютка не знал. Наконец он заскочил в бурелом и начал с треском продираться сквозь сухие колючие ветви. Потом упал с валежины вниз лицом в сырой мох и замер. Отчаяние охватило его, и сразу не стало сил. «Будь что будет», — отрешенно подумал он.

В лес бесшумно, как сова, прилетела ночь. А с нею и холод: Васютка почувствовал, как стынет взмокшая от пота одежда.

«Тайга наша кормилица хлипких не любит!» — вспомнились ему слова отца и дедушки. И он стал припоминать все,

чему его учили, что знал из рассказов рыбаков и охотников. Перво-наперво надо развести огонь. Ладно, что спички захватил из дома. Пригодились спички.

Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью сорвал пучок сухого мха-бородача, искрошил мелко сучки, сложил все в кучу и поджег. Огонек, покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул — вокруг посветлело. Васютка подбросил еще веток. Между деревьями зашарахались тени, темнота отступила подальше. Монотонно зудя, на огонь налетело несколько комаров — веселее с ними.

Надо было запастись на ночь дровами. Васютка, не щадя рук, наломал сучьев, приволок сухую валежину, выворотил старый пень. Вытащив из мешка краюшку хлеба, мальчик вздохнул и с тоской подумал: «Плачет, поди, мамка». Ему тоже захотелось плакать, но он переборол себя и, ощипав глухаря, начал перочинным ножиком потрошить его. Потом сгреб костер в сторону, на горячем месте выкопал ямку и положил туда птицу. Плотно закрыв ее мхом, присыпал горячей землей, золой, углями, сверху положил пылающие головни и подбросил дров.

Через час примерно он раскопал глухаря. От птицы шел пар и аппетитный запах: глухарь упрел в собственном соку — охотничье блюдо! Но без соли какой же вкус?! Васютка через силу глотал пресное мясо.

— Эх, дурило, дурило! Сколько этой соли в бочках на берегу стоит! Что стоило горсточку в карман сыпануть? — укорял он себя.

Потом вспомнил, что мешок, который он взял для шишек, был из-под соли, и торопливо вывернул его. Из уголков мешка он выковырял щепотку грязных кристалликов, раздавил их на прикладе ружья и через силу улыбнулся:

— Живем!

Поужинав, Васютка сложил остатки еды в мешок, повесил его на сук, чтобы мыши или кто-нибудь еще не добрался до харчей, и принялся готовить место для ночлега.

Он перенес в сторону костер, убрал все угольки, набросал веток с хвоей, моху и лег, накрывшись телогрейкой.

Снизу подогревало.

Занятый хлопотами, Васютка не так остро чувствовал одиночество. Но стоило лечь и задуматься, как тревога начала одолевать с новой силой. Заполярная тайга не страшна зверьем. Медведь здесь редкий житель. Волков нет. Змей — тоже. Бывает, встречаются рыси и блудливые песцы. Но

осенью корма для них полно в лесу, и едва ли они могли бы позариться на Васюткины запасы. И все-таки было жутко. Он зарядил одноствольную переломку, взвел курок и положил ружье рядом. Спать!

Не прошло и пяти минут, как Васютка почувствовал, что к нему кто-то крадется. Он открыл глаза и замер: да, крадется! Шаг, второй, шорох, вздох... Кто-то медленно и осторожно идет по моху. Васютка боязливо поворачивает голову и неподалеку от костра видит что-то темное, большое. Сейчас оно стоит, не шевелится.

Мальчик напряженно вглядывается и начинает различать вздетые к небу не то руки, не то лапы. Васютка не дышит: «Что это?» В глазах от напряжения рябит, нет больше сил сдерживать дыхание. Он вскакивает, направляет ружье на это темное:

— Кто такой? А ну, подходи, не то садану картечью!

В ответ — ни звука. Васютка еще некоторое время стоит неподвижно, потом медленно опускает ружье и облизывает пересохшие губы. «В самом деле, что там может быть?» — мучается он и еще раз кричит:

— Я говорю, не прячься, а то хуже будет!

Тишина. Васютка рукавом утирает со лба пот и, набравшись храбрости, решительно направляется в сторону темного предмета.

— Ох, окаянный! — облегченно вздыхает он, увидев перед собой огромный корень-выворотень. — Ну и трус же я! Чуть ума не лишился из-за этой чепухи.

Чтобы окончательно успокоиться, он отламывает отростки от корневища и несет их к костру.

Коротка августовская ночь в Заполярье. Пока Васютка управился с дровами, густая, как смола, темень начала редеть, прятаться в глубь леса. Не успела она еще совсем рассеяться, а на смену ей уже выполз туман. Стало холоднее. Костер от сырости зашипел, защелкал, принялся чихать, словно сердился на волглую пелену, окутавшую все вокруг. Комары, надоедавшие всю ночь, куда-то исчезли. Ни дуновения, ни шороха.

Все замерло в ожидании первого утреннего звука. Что это будет за звук — неизвестно. Может быть, робкий свист пичужки или легкий шум ветра в вершинах бородатых елей и корявых лиственниц, может быть, застучит по дереву дятел или протрубит дикий олень. Что-то должно родиться из этой тишины, кто-то должен разбудить сонную тайгу. Васютка

зябко поежился, придвинулся ближе к костру и крепко заснул, так и не дождавшись утренней весточки.

Солнце было уже высоко. Туман росою пал на деревья, на землю, мелкая пыль искрилась всюду.

«Где это я?» — изумленно подумал Васютка и, окончательно проснувшись, услышал ожившую тайгу.

По всему лесу озабоченно кричали кедровки на манер базарных торговок. Где-то по-детски заплакала желна. Над головой Васютки, хлопотливо попискивая, потрошили синички старое дерево. Васютка встал, потянулся и вспугнул кормившуюся белку. Она, всполошенно цокая, пронеслась вверх по стволу ели, села на сучок и, не переставая цокать, уставилась на Васютку.

— Ну, чего смотришь? Не узнала? — с улыбкой обратился к ней Васютка.

Белка пошевелила пушистым хвостиком.

— А я вот заблудился. Понесся сдуру за глухарем и заблудился. Теперь меня по всему лесу ищут, мамка ревет... Не понимаешь ты ничего, толкуй с тобой! А то бы сбегала, сказала нашим, где я. Ты вон какая проворная! — Он помолчал и махнул рукой: — Убирайся давай, рыжая, стрелять буду!

Васютка вскинул ружье и выстрелил в воздух. Белка, будто пушинка, подхваченная ветром, метнулась и пошла считать деревья. Проводив ее взглядом, Васютка выстрелил еще раз и долго ждал ответа. Тайга не откликалась. По-прежнему надоедливо, вразнобой горланили кедровки, неподалеку трудился дятел да пощелкивали капли росы, осыпаясь с деревьев.

Патронов осталось десять штук. Стрелять Васютка больше не решился. Он снял телогрейку, сбросил на нее кепку и, поплевав на руки, полез на дерево.

Тайга... Тайга... Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная. С высоты она казалась огромным, темным морем. Небо не обрывалось сразу, как это бывает в горах, а тянулось далеко-далеко, все ближе прижимаясь к вершинам леса. Облака над головой были редкие, но чем дальше смотрел Васютка, тем они делались гуще, и наконец голубые проемы исчезли совсем. Облака спрессованной ватой ложились на тайгу, и она растворялась в них.

Долго Васютка отыскивал глазами желтую полоску лиственника среди неподвижного зеленого моря (лиственный лес обычно тянется по берегам реки), но кругом темнел сплошной хвойник. Видно, Енисей и тот затерялся в глухой, угрюмой

тайге. Маленьким-маленьким почувствовал себя Васютка и закричал с тоской и отчаянием:

—Э-э-й, мамка! Папка! Дедушка! Заблудился я!..

Голос его пролетел немного над тайгой и упал невесомо — кедровой шишкой в мох.

Медленно спустился Васютка с дерева, задумался, да так и просидел с полчаса. Потом встряхнулся, отрезал мяса и, стараясь не смотреть на маленькую краюшку хлеба, принялся жевать. Подкрепившись, он собрал кучу кедровых шишек, размял их и стал насыпать в карманы орехи. Руки делали свое дело, а в голове решался вопрос, один-единственный вопрос: «Куда идти?» Вот уж и карманы полны орехов, патроны проверены, к мешку вместо лямки приделан ремень, а вопрос все еще не решен. Наконец Васютка забросил мешок за плечо, постоял с минуту, как бы прощаясь с обжитым местом, и пошел строго на север. Рассудил он просто: в южную сторону тайга тянется на тысячи километров, в ней вовсе затеряешься, а если идти на север, то километров через сотню лес кончится, начнется тундра. Васютка понимал, что выйти в тундру — это еще не спасение. Поселения там очень редки, и едва ли скоро наткнешься на людей. Но ему хотя бы выбраться из леса, который загораживает свет и давит своей угрюмостью.

Погода держалась все еще хорошая. Васютка боялся и подумать о том, что с ним будет, если разбушуется осень. По всем признакам ждать этого осталось недолго.

Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного моха тощие стебли травы. Он прибавил шагу. Трава стала попадаться чаще, и уже не отдельными былинками, а пучками. Васютка заволновался: трава растет обычно вблизи больших водоемов. «Неужто впереди Енисей?» — с наплывающей радостью думал Васютка. Заметив меж хвойных деревьев березки, осинки, а дальше — мелкий кустарник, он не сдержался, побежал и скоро ворвался в густые заросли черемушника, ползучего тальника, смородинника. Лицо и руки жалила высокая крапива, но Васютка не обращал на это внимания и, защищая рукой глаза от гибких ветвей, с треском продирался вперед. Меж кустов мелькнул просвет.

Впереди берег... Вода! Не веря своим глазам, Васютка остановился. Так он простоял некоторое время и почувствовал, что ноги его вязнут. Болото! Болота чаще всего бывают у берегов озер. Губы Васютки задрожали: «Нет, неправда! Бывают болота возле Енисея тоже». Несколько прыжков через чащу, крапиву, кусты — и вот он на берегу.

Нет, это не Енисей. Перед глазами Васютки небольшое, унылое озеро, подернутое подле берега ряской.

Васютка лег на живот, отгреб рукой зеленую кашицу ряски и жадно припал губами к воде. Потом он сел, усталым движением снял мешок, начал было вытирать кепкой лицо и вдруг, вцепившись в нее зубами, навзрыд расплакался.

Заночевать решил Васютка на берегу озера. Он выбрал посуше место, натаскал много дров, развел огонь. С огоньком всегда веселее, а в одиночестве — тем более. Обжарив в костре шишки, Васютка одну за другой выкатил их из золы палочкой, как печеную картошку. От орехов уже болел язык, но он решил: пока хватит терпения, не трогать хлеб, а питаться орехами, мясом, чем придется.

Опускался вечер. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката, тянулись живыми струями в глубину и терялись там, не достигая дна. Прощаясь со́ днем, кое-где с грустью тинькали синички, плакала сойка, стонали гагары. И все-таки у озера было куда веселее, чем в гуще тайги. Но здесь еще сохранилось много комаров. Они начали донимать Васютку. Отмахиваясь от них, мальчик внимательно следил за ныряющими на озере утками. Они были совсем не пуганы и плавали возле самого берега с хозяйским покрякиванием. Уток было множество. Стрелять по одной не было никакого расчета. Васютка, прихватив ружье, отправился на мысок, вдававшийся в озеро, и сел на траву. Рядом с осокой, на гладкой поверхности воды, то и дело расплывались круги. Это привлекло внимание мальчика. Васютка взглянул в воду и замер: около травы, плотно, одна к другой, пошевеливая жабрами и хвостами, копошились рыбы. Рыбы было так много, что Васютку взяло сомнение. «Водоросли, наверно?» Он потрогал траву палкой. Косяки рыбы подались от берега и снова остановились, лениво работая плавниками.

Столько рыбы Васютка еще никогда не видел. И не просто какой-нибудь озерной рыбы: щуки, там, сороги или окуня. Нет, по широким спинам и белым бокам он узнал пелядей, чиров, сигов. Это было удивительнее всего. В озере — белая рыба!

Васютка сдвинул свои густые брови, силясь что-то припомнить. Но в этот момент табун уток-свиязей отвлек его от размышлений. Он подождал, пока утки поравняются с мысом, выцелил пару и выстрелил. Две нарядные свиязи опрокину-

лись кверху брюшками и часто-часто задвигали лапами. Еще одна утка, оттопырив крыло, боком уплывала от берега. Остальные всполошились и с шумом полетели на другую сторону озера. Минут десять над водой носились табуны перепуганных птиц.

Пару подбитых уток мальчик достал длинной палкой, а третья успела уплыть далеко.

— Ладно, завтра достану, — махнул рукой Васютка.

Небо уже потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера напоминала сейчас раскаленную печку. Казалось, положи на гладкую поверхность воды ломтики картошки, они мигом испекутся, запахнет горелым и вкусным. Васютка проглотил слюну, еще раз поглядел на озеро, на кровянистое небо и с тревогой проговорил:

— Ветер завтра будет. А вдруг еще с дождем?

Он ощипал уток, зарыл их в горячие угли костра, лег на пихтовые ветки и начал щелкать орехи.

Заря догорела. В потемневшем небе стыли редкие, неподвижные облака. Начали прорезаться звезды. Показался маленький, похожий на ноготок, месяц. Стало светлее. Васютка вспомнил слова дедушки: «Вызвездило — к холоду!» — и на душе у него сделалось еще тревожнее.

Чтобы отогнать худые мысли, Васютка старался думать сначала о доме, а потом ему вспомнилась школа, товарищи.

Васютка дальше Енисея еще никогда не бывал и видел только один город — Игарку.

А много ли в жизни хотелось узнать и увидеть Васютке? Много. Узнает ли? Выберется ли из тайги? Затерялся в ней точно песчинка. А что теперь дома? Там, за тайгой, люди словно в другом мире: смотрят кино, едят хлеб... может, даже конфеты. Едят сколько угодно. В школе сейчас, наверное, готовятся встречать учеников. Над школьными дверями уже вывешен новый плакат, на котором крупно написано: «Добро пожаловать!»

Совсем приуныл Васютка. Жалко ему самого себя стало, начало донимать раскаяние. Не слушал вот он на уроках и в перемену чуть не на голове ходил, покуривал тайком. В школу съезжаются ребята со всей округи: тут и эвенки, и ненцы, и нганасаны. У них свои привычки. Бывало, достанет кто-нибудь из них на уроке трубку и без лишних рассуждений закуривает. Особенно грешат этим малыши — первоклассники. Они только что из тайги и никакой дисциплины не понимают. Станет учительница Ольга Федоровна толковать

такому ученику насчет вредности курева — он обижается; трубку отберут — ревет. Сам Васютка тоже покуривал и им табачок давал.

— Эх, сейчас бы Ольгу Федоровну увидеть... — думал Васютка вслух. — Весь бы табак вытряхнул...

Устал Васютка за день, но сон не шел. Он подбросил в костер дров, снова лег на спину. Облака исчезли. Далекие и таинственные, перемигивались звезды, словно звали куда-то. Вот одна из них ринулась вниз, прочертила темное небо и тут же растаяла. «Погасла звездочка — значит, жизнь чья-то оборвалась», — вспомнил Васютка слова дедушки Афанасия.

Совсем горько стало Васютке.

«Может быть, увидели ее наши?» — подумал он, натягивая на лицо телогрейку, и вскоре забылся беспокойным сном.

Проснулся Васютка поздно от холода и не увидел ни озера, ни неба, ни кустов. Опять кругом был клейкий, неподвижный туман. Только слышались с озера громкие и частые шлепки: это играла и кормилась рыба. Васютка встал, поежился, раскопал уток, раздул угольки. Когда костер разгорелся, он погрел спину, потом отрезал кусочек хлеба, взял одну утку и принялся торопливо есть. Мысль, которая вчера вечером беспокоила Васютку, снова полезла в голову: «Откуда в озере столько белой рыбы?» Он не раз слышал от рыбаков, что в некоторых озерах будто бы водится белая рыба, но озера эти должны быть или были когда-то проточными. «А что, если!..»

Да, если озеро проточное и из него вытекает речка, она в конце концов приведет его к Енисею. Нет, лучше не думать. Вчера вон обрадовался: Енисей, Енисей! — а увидел шиш болотный. Не-ет, уж лучше не думать.

Покончив с уткой, Васютка еще полежал у огня, пережидая, когда уляжется туман. Веки склеивались. Но и сквозь тягучую, унылую дремоту пробивалось: «Откуда все же взялась в озере речная рыба?»

— Тьфу, нечистая сила! — выругался Васютка. — Привязалась как банный лист. «Откуда? Откуда?» Ну, может, птицы икру на лапах принесли, ну, может, и мальков, ну, может... А, к лешакам все! — Васютка вскочил и, сердито треща кустами, натыкаясь в тумане на валежины, начал пробираться вдоль берега. Вчерашней убитой утки на воде не обна-

ружил, удивился и решил, что ее коршун утащил или съели водяные крысы.

Васютке казалось, что в том месте, где смыкаются берега, и есть конец озера, но он ошибся. Там был лишь перешеек. Когда туман растворился, перед мальчиком открылось большое, мало заросшее озеро, а то, возле которого он ночевал, было всего-навсего заливом — отголоском озера.

— Вот это да! — ахнул Васютка. — Вот где рыбищи-то, наверно... Уж здесь не пришлось бы зря сетями воду цедить. Выбраться бы, рассказать бы. — И, подбадривая себя, он прибавил: — А что? И выйду! Вот пойду, пойду и...

Тут Васютка заметил небольшой комочек, плавающий у перешейка, подошел ближе и увидел убитую утку. Он так и обомлел: «Неужто моя? Как же ее принесло сюда?!» Мальчик быстро выломал палку и подгреб птицу к себе. Да, это была утка — свиязь с окрашенной в вишневый цвет головкой.

— Моя! Моя! — в волнении забормотал Васютка, бросая утку в мешок. — Моя уточка! — Его даже лихорадить начало. — Раз ветра не было, а утку отнесло, значит, есть тягун, озеро проточное!

И радостно и как-то боязно было верить в это. Торопливо переступая с кочки на кочку, через бурелом, густые ягодники, продирался Васютка. В одном месте почти из-под ног взметнулся здоровенный глухарь и сел неподалеку. Васютка показал ему кукиш:

— А этого не хочешь? Провалиться мне, если я еще свяжусь с вашим братом!

Поднимался ветер.

Качнулись, заскрипели отжившие свой век сухие деревья. Над озером заполошной стаей закружились поднятые с земли и сорванные с деревьев листья. Застонали гагары, вещая непогоду. Озеро подернулось морщинами, тени на воде заколыхались, облака прикрыли солнце, вокруг стало хмуро, неуютно.

Далеко впереди Васютка заметил уходящую в глубь тайги желтую бороздку лиственного леса. Значит, там речка. От волнения у него пересохло в горле. «Опять какая-нибудь кишка озерная. Мерещится, и все», — засомневался Васютка, однако пошел быстрее. Теперь он даже боялся остановиться попить: что, если наклонится к воде, поднимет голову и не увидит впереди яркой бороздки.

Пробежав с километр по едва приметному бережку, заросшему камышом, осокой и мелким кустарником, Васютка

остановился и перевел дух. Заросли сошли на нет, а вместо них появились высокие, обрывистые берега.

— Вот она речка! Теперь уж без обмана! — обрадовался Васютка.

Правда, он понимал, что речушки могут впадать не только в Енисей, но и в какое-нибудь другое озеро, но он не хотел про это думать. Речка, которую он так долго искал, должна привести его к Енисею, иначе... он обессилеет и пропадет. Вон, с чего-то уже тошнит...

Чтобы заглушить тошноту, Васютка на ходу срывал гроздья красной смородины, совал их в рот вместе со стебельками. Рот сводило от кислятины и щипало язык, расцарапанный ореховой скорлупой.

Пошел дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом, полилось, полилось. Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залег под нее. Не было ни желания, ни сил шевелиться, разводить огонь. Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький кусочек от черствой горбушки и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал сосать. Есть захотелось еще сильнее. Васютка выхватил краюшку из мешка, вцепился в нее зубами и, плохо разжевывая, съел всю.

Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, стряхивая за воротник Васютке холодные капли воды. Они ползли по спине. Васютка скорчился, втянул голову в плечи. Веки его сами собой начали смыкаться, будто повесили на них тяжелые грузила, какие привязывают к рыболовным сетям.

Когда он очнулся, на лес уже спускалась темнота, смешанная с дождем. Было все так же тоскливо, сделалось еще холоднее.

— Ну и зарядил, окаянный! — обругал Васютка дождь.

Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжелым сном. На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на озябшие руки и принялся искать сухие дрова. Осинник за ночь разделся почти донага. Будто тоненькие пластики свеклы, на земле лежали темно-красные листья. Вода в речке заметно прибыла. Лесная жизнь примолкла. Даже кедровки, и те не подавали голоса.

Расправив полы ватника, Васютка защитил от ветра кучу веток и лоскуток бересты. Спичек осталось четыре штуки. Не дыша, он чиркнул спичку о коробок, дал огоньку разгореться

между ладонями и поднес к бересте. Она стала корчиться, свернулась в трубочку и занялась. Потянулся хвостик черного дыма. Сучки, шипя и потрескивая, разгорались. Васютка снял прохудившиеся сапоги, размотал грязные портянки. Ноги издрябли и сморщились от сырости. Он погрел их, высушил сапоги и портянки, оторвал от кальсон тесемки и подвязал ими державшуюся на трех гвоздях подошву правого сапога.

Греясь возле костра, Васютка неожиданно уловил что-то похожее на комариный писк и замер. Через секунду звук повторился, вначале протяжно, потом несколько раз коротко.

«Гудок!— догадался Васютка. — Пароход гудит! Но почему же он слышится оттуда, с озера? А-а, понятно».

Мальчик знал эти фокусы тайги: гудок всегда откликается на ближнем водоеме. Но гудит-то пароход на Енисее! В этом Васютка был уверен. Скорей, скорей бежать туда! Он так заторопился, будто у него был билет на этот самый пароход.

В полдень Васютка поднял с реки табун гусей, ударил по ним картечью и выбил двух. Он спешил, поэтому зажарил одного гуся на вертеле, а не в ямке, как это делал раньше. Осталось две спички, кончались и Васюткины силы. Хотелось лечь и не двигаться. Он мог бы отойти метров на двести — триста от речки. Там, по редколесью, было куда легче пробираться, но он боялся потерять речку из виду.

Мальчик брел, почти падая от усталости. Неожиданно лес расступился, открыв перед Васюткой отлогий берег Енисея. Мальчик застыл. У него даже дух захватило — так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой. Он бросился вперед, упал на край берега и жадными глотками стал хватать воду, шлепать по ней руками, окунать в нее лицо.

— Енисеюшко! Славный, хороший... — шмыгал Васютка носом и размазывал грязным, пропахшим дымом рукавом слезы по лицу. От радости Васютка совсем очумел. Принялся прыгать, подбрасывать горстями песок. С берега поднялись стаи белых чаек и с недовольными криками закружились над рекой.

Так же неожиданно Васютка очнулся, перестал шуметь и даже несколько смутился, оглядываясь вокруг. Но никого нигде не было, и он стал решать, куда идти: вверх или вниз по Енисею? Место было незнакомое. Мальчик так ничего и не

придумал. Обидно, конечно: может быть, дом близко, в нем мать, дедушка, отец, еды — сколько хочешь, а тут сиди и жди, пока кто-нибудь поплывет, а плавают в низовьях Енисея не часто.

Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу, хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верховьях реки, появился дымок. Маленький, будто от папиросы. Дымок становится все больше и больше... Вот уже под ним обозначилась темная точка. Идет пароход. Долго еще ждать его. Чтобы как-нибудь скоротать время, Васютка решил умыться. Из воды на него глянул парнишка с заострившимися скулами. От дыма, грязи и ветра брови стали у него еще темнее, а губы потрескались.

— Ну и дошел же ты, друг! — покачал головой Васютка.

А что, если бы дольше пришлось бродить?

Пароход все приближался и приближался. Васютка уже видел, что это не обыкновенный пароход, а двухпалубный пассажирский теплоход. Васютка силился разобрать надпись и, когда, наконец, это ему удалось, с наслаждением прочитал вслух:

— «Серго Орджоникидзе».

На теплоходе маячили темные фигурки пассажиров. Васютка заметался по берегу.

— Эй-эй, пристаньте! Возьмите меня! Эй-эй!.. Слушайте...

Кто-то из пассажиров заметил его и помахал рукой. Растерянным взглядом проводил Васютка теплоход.

— Эх вы-ы, еще капитанами называетесь! «Серго Орджоникидзе», а человеку помочь не хотите...

Васютка понимал, конечно, что за долгий путь от Красноярска «капитаны» видели множество людей на берегу, около каждого не наостанавливаешься, — и все-таки было обидно. Он начал собирать дрова на ночь.

Эта ночь была особенно длинной и тревожной. Васютке все казалось, что кто-то плывет по Енисею. То он слышал шлепанье весел, то стук моторки, то пароходные гудки.

Под утро он и в самом деле уловил равномерно повторяющиеся звуки: бут-бут-бут-бут... Так могла стучать только выхлопная труба рыбосборочного катера-бота.

— Неужели дождался? — Васютка вскочил, протер глаза и закричал: — Стучит! — И опять прислушался, и начал, приплясывая, напевать: — Бот стучит, стучит, стучит...

Тут же опомнился, схватил свои манатки и побежал по берегу навстречу боту. Потом кинулся назад и стал складывать в костер все припасенные дрова: догадался, что у костра скорей его заметят. Взметнулись искры, высоко поднялось пламя. Наконец из предрассветной мглы выплыл высокий, неуклюжий силуэт бота.

Васютка отчаянно закричал:

— На боте! Э-эй, на боте! Остановитесь! Заблудился я. Э-эй! Дяденьки! Кто там живой? Э-эй, штурвальный!

Он вспомнил про ружье, схватил его и начал палить вверх: бах! бах! бах!

— Кто стреляет? — раздался гулкий, придавленный голос, будто человек говорил не разжимая губ. Это в рупор спрашивали с бота.

— Да это я, Васька! Заблудился я! Пристаньте, пожалуйста! Пристаньте скорее!

На боте послышались голоса, и, мотор, будто ему сунули в горло паклю, заработал глуше. Раздался звонок, из выхлопной трубы вылетел клуб огня. Мотор затарахтел с прежней силой: бот подрабатывал к берегу.

Но Васютка никак не мог этому поверить и выпалил последний патрон.

— Дяденька, не уезжайте! — закричал он. — Возьмите меня! Возьмите!

От бота отошла шлюпка.

Васютка кинулся в воду, побрел навстречу, глотая слезы и приговаривая:

— За-заблудился я-а, совсем заблудился-а... — Потом, когда втащили его в шлюпку, заторопился:—Скорее, дяденьки, плывите скорее, а то уйдет еще бот-то! Вон вчера пароход только мелькну-ул...

— Ты, малый, що, сказывся! — послышался густой бас с кормы шлюпки, и Васютка узнал по голосу и по смешному украинскому выговору старшину бота «Игарец».

— Дяденька Коляда! Это вы? А это я, Васька! — перестав плакать, заговорил мальчик.

— Який Васька?

— Да шадринский. Григория Шадрина, рыбного бригадира, знаете?

— Тю-у! А як ты сюды попав?

И когда в темном кубрике, уплетая за обе щеки хлеб с вяленой осетриной, Васютка рассказывал о своих похождениях, Коляда хлопал себя по коленям и восклицал:

— Ай, скаженный хлопець! Та на що тоби той глухарь сдався? Во налякав ридну маты и батьку...

— Еще и дедушку....

Коляда затрясся от смеха:

— Ой, шоб тоби! Он и дида вспомнил! Ха-ха-ха! Ну и бисова душа! Да знаешь ли ты, де тебя вынесло?

— Не-е-е.

— Шестьдесят километров ниже вашего стану.

— Ну-у?!

— Оце тоби и ну! Лягай давай спать, горе ты мое гиркое.

Васютка уснул на койке старшины, закутанный в одеяло и в одежду, какая имелась в кубрике.

А Коляда глядел на него, разводил руками и бормотал:

— Во, герой глухариный, спит соби, а батько з маткой с глузну зъихалы.

Не переставая бормотать, он поднялся к штурвальному и приказал:

— На Песчаному острови и у Карасихи не будет остановки. Газуй прямо к Шадрину.

— Понятно, товарищ старшина, домчим хлопца мигом!

Подплывая к стоянке бригадира Шадрина, штурвальный покрутил ручку сирены. Над рекой понесся пронзительный вой. Но Васютка не слышал сигнала.

На берег спустился дедушка Афанасий и принял чалку с бота.

— Что это ты сегодня один-одинешенек? — спросил вахтенный матрос, сбрасывая трап.

— Не говори, паря, — уныло отозвался дед. — Беда у нас, ой беда! Васютка, внук-то мой, потерялся. Пятый день ищем. Ох-хо-хо, парнишка-то был какой, парнишка-то, шустрый, востроглазый!..

— Почему — был! Рано ты собрался его хоронить! Еще с правнуками понянчишься! — И, довольный тем, что озадачил старика, матрос с улыбкой добавил: — Нашелся ваш пацан, в кубрике спит себе и в ус не дует.

— Чего это? — встрепенулся дед и выронил кисет, из которого зачерпывал трубкой табак. — Ты... ты, паря, над стариком не смейся. Откудова Васютка мог на боте взяться?

— Правду говорю. На берегу мы его подобрали. Он там такую полундру устроил — все черти в болото спрятались!

— Да не треплись ты! Где Васютка-то? Давай его скорей! Цел ли он?

— Цел. Старшина пошел его будить.

Дед Афанасий бросился было к трапу, но тут же круто повернул и засеменил наверх, к избушке:

— Анна! Анна! Нашелся пескаришка-то! Анна! Где ты там? Скорее беги! Отыскался он...

В цветастом переднике, со сбившимся набок платком показалась Васюткина мать. Когда она увидела спускавшегося по трапу оборванного Васютку, ноги ее подкосились. Она со стоном осела на камни, протягивая руки навстречу сыну.

И вот Васютка дома! В избушке натоплено так, что дышать нечем. Накрыли его двумя стегаными одеялами, оленьей дохой да еще пуховой шалью повязали.

Лежит Васютка на топчане разомлевший, а мать и дедушка хлопочут около, простуду из него выгоняют. Мать натерла его спиртом, дедушка напарил каких-то горьких, как полынь, корней и заставил пить это зелье.

— Может, еще что-нибудь покушаешь, Васенька? — нежно, как у больного, спрашивала мать.

— Да, мам, некуда уж.

— А если вареньица черничного? Ты ведь его любишь!

— Если черничного, ложки две, пожалуй, войдет.

— Ешь, ешь!

— Эх ты, Васюха, Васюха! — гладил его по голове дедушка. — Как же ты сплоховал? Раз уж такое дело, не надо было метаться. Нашли бы тебя скоро. Ну да ладно, дело прошлое. Мука — вперед наука. Да-а, глухаря-то, говоришь, завалил все-таки? Дело! Купим тебе новое ружье на будущий год. Ты еще медведя ухряпаешь! Помяни мое слово!

— Ни боже мой! — возмутилась мать. — Близко к избе вас с ружьем не подпущу. Гармошку, патефон покупайте, а ружья чтобы и духу не было!

— Пошли бабьи разговоры, — махнул рукой дедушка. — Ну, поблукал маленько парень. Так что теперь, по-твоему, и в лес не ходить?

Дед подмигнул Васютке, дескать, не обращай внимания, будет новое ружье — и весь сказ!

Мать хотела еще что-то сказать, но на улице залаял Дружок, и она выбежала из избушки.

Из леса, устало опустив плечи, в мокром дождевике, шел Григорий Афанасьевич. Глаза его ввалились, лицо, заросшее густой, черной щетиной, было мрачно.

— Напрасно все, — отрешенно махнул он рукой. — Нету, пропал парень...

— Нашелся... дома он...

Григорий Афанасьевич шагнул к жене, минуту стоял растерянный, потом заговорил, сдерживая волнение:

— Ну, а зачем реветь? Нашелся — и хорошо. К чему мокрень-то разводить? Здоров он? — И, не дожидаясь ответа, направился к избушке.

Мать остановила его:

— Ты уж, Гриша, не особенно строго с ним. Он и так лиха натерпелся. Порассказывал, так мурашки по коже...

— Ладно, не учи!

Григорий Афанасьевич зашел в избушку, поставил в угол ружье, снял дождевик.

Васютка, высунув голову из-под одеяла, выжидательно и робко следил за отцом.

Дед Афанасий, дымя трубкой, покашливал.

— Ну, где ты тут, бродяга? — повернулся к Васютке отец, и губы его тронула чуть заметная улыбка.

— Вот он я! — привскочил с топчана Васютка, заливаясь счастливым смехом. — Укутала меня мамка, как девчонку, а я вовсе не простыл. Вот пощупай, пап, — он притянул руку отца к своему лбу.

Григорий Афанасьевич прижал лицо сына к животу и легонько похлопал по спине:

— Затараторил, варнак! У-у-у, лихорадка болотная! Наделал ты нам хлопот, попортил крови! Рассказывай, где тебя носило?

— Он все про озеро какое-то толкует, — заговорил дед Афанасий. — Рыбы, говорит, в нем видимо-невидимо.

— Рыбных озер мы и без него знаем много, да не вдруг на них попадешь.

— А к этому, папка, можно проплыть, потому что речка из него вытекает.

— Речка, говоришь? — оживился Григорий Афанасьевич. — Интересно! Ну-ка, ну-ка, рассказывай, что ты там за озеро отыскал?

Через два дня Васютка, как заправский провожатый, шагал по берегу речки вверх, а бригада рыбаков на лодках поднималась следом за ним.

Погода стояла самая осенняя. Мчались куда-то мохнатые тучи, чуть не задевая за вершины деревьев; шумел и качался лес; в небе раздавались встревоженные крики птиц, тронувшихся на юг. Васютке теперь любая непогода была нипочем. В резиновых сапогах и в брезентовой куртке, он держался рядом с отцом, приноравливаясь к его шагу, и наговаривал:

— Они, гуси-то, ка-ак взлетят сразу все, я кэ-эк дам! Два на месте упали, а один еще ковылял, ковылял и свалился в лесу, да я не пошел за ним: побоялся от речки отходить.

На Васюткины сапоги налипли комья грязи. Он устал, вспотел и нет-нет да и переходил на рысь, чтобы не отстать от отца.

— И ведь я их влет саданул, гусей-то...

Отец не отзывался. Васютка посеменил молча и опять начал:

— А что? Влет еще лучше, оказывается, стрелять: сразу вон несколько ухлопал!

— Не хвались! — заметил отец и покачал головой. — И в кого ты такой хвастун растешь? Беда!

— Да я и не хвастаюсь: раз правда, так что мне хвалиться, — сконфуженно пробормотал Васютка и перевел разговор на другое. — А скоро, пап, будет пихта, под которой я ночевал. Ох, и продрог я тогда!

— Зато сейчас, я вижу, весь сопрел. Ступай к дедушке в лодку и похвались насчет гусей. Он любитель байки слушать. Ступай, ступай!

Васютка отстал от отца, подождал лодку, которую тянули бечевой рыбаки. Они очень устали, намокли, и Васютка постеснялся катиться в лодке и тоже взялся за бечеву и стал помогать рыбакам.

Когда впереди открылось широкое, затерявшееся среди глухой тайги озеро, кто-то из рыбаков сказал:

— Вот и озеро Васюткино...

С тех пор и пошло: Васюткино озеро, Васюткино озеро.

Рыбы в нем оказалось действительно очень много. Бригада Григория Шадрина, а вскоре и еще одна колхозная бригада переключились на озерный лов.

Зимой у этого озера была построена избушка. По снегу колхозники забросили туда рыбную тару, соль, сети и открыли постоянный промысел.

На районной карте появилось еще одно голубое пятнышко, с ноготь величиной, под словами «Васюткино оз.». На краевой карте это пятнышко, всего с булавочную головку, уже без названия. На карте же нашей страны озеро это сумеет найти разве сам Васютка.

Может, видели вы на физической карте в низовьях Енисея пятнышки, будто небрежный ученик брызнул с пера голубыми чернилами? Вот где-то среди этих кляксочек есть та, которую именуют Васюткиным озером.

НАСЛЕДСТВО

Лукаша вздыхал, ворочался, кутался в старый полушубок, но сон не приходил. «Укатали Сивку крутые горки», — с грустью подумал он о себе и долго после этого лежал неподвижно, забывшись чуткой дремотой. Трещание кузнечиков, голос кукушки, однообразно отсчитывающий в ночи чьи-то земные сроки, шум реки на перекате начали сливаться.



И вдруг совсем рядом, в густом черемушнике, дико захохотала выпь.

— О, чтоб тя разорвало! — выругался Лукаша. — Тьфу ты, нечистая сила! И достанется же птице такое горло сатанинское — православных с ума сводить!

Лукаша поднялся, сердито ворча, стал складывать в кучу почти затухшие головни. От них повалил дым и вскоре закачался, разрастаясь, синенький огонек.

Приближалось утро.

От реки потянуло сыростью, и Лукаша ощутил легкий озноб. Лицо его, заросшее колючими волосами, посерело от бессонницы.

Он с кряхтеньем достал уголек, положил его в трубку и задумался, глядя куда-то поверх потрескивающего костра.

Трубка сопела, посвистывала, словно грустила вместе с хозяином.

Да, теперь Лукаша знает, что такое бессонница. Вот племянник Федька об этом никакого представления не имеет. Спит себе у костра, похрапывает под одним дождевиком, и холод ему нипочем. Впрочем, и сам Лукаша в Федькины-то годы не жаловался на бессонницу. Бывало, только ткнется где-нибудь — и готов, хоть сто леших сбежись и ори на разные голоса — не проснется. А тут какая-то ничтожная пернатая тварь разбудила...

— Ох-хо-хо, парень, парень, хорошо тебе: ни заботы, ни печали, старость-то далеко-о, — протянул со вздохом Лукаша, поглядывая на спящего племянника.

Федька зашевелил губами, промычал тихонько и зябко скорчился, натягивая на себя куцый дождевичок.

— Замерз, — усмехнулся Лукаша, снял с плеч старый полушубок и набросил на Федьку. — Спи давай за двоих, гроза зверей.

Лукаша погрел спину у костра, еще раз набил трубку и подумал: «Чайку бы теперь!» Но не хотелось тащиться с чайником к реке сквозь кустарник, в промозглую темень, не хотелось даже шевелиться. Годы и усталость придавили Лукашу, сгорбили его кряжистую фигуру. Руки, грудь, плечи, выпирающие под рубахой лопатки и теперь еще говорили о силе, некогда буйной, а черные с желтинкой глаза, притаившиеся под пучками лохматых бровей, были зорки и цепки, как в молодости. Но чуял Лукаша: скоро, скоро совсем сломят его немощи. Они наваливаются на престарелых таежников сразу, как только те покидают тайгу-кормилицу.

Не тайники с золотом, не пятистенные избы и не закрома с хлебом оставляет в наследство охотник. Передает он чаще всего старое, много раз чиненное ружье и в придачу к нему — вольную жизнь, любовь к тайге, к небу, звездам — ко всему живому на земле.

Наследником обычно бывает сын. А Лукаша так и не обзавелся семьей. Прожил он с женой всего три недели и еще не успел поверить, что любимая Дуняша с ним, как случилось событие, которое перевернуло всю его жизнь.

Отряд красных партизан после удачного налета на деревню, занятую колчаковцами, пробирался в горы. Лукаша служил тогда на месте покойного отца лесообъездчиком, знал все таежные тропы, не раз водил по ним партизан. В тот день он опять пошел с отрядом в тайгу, а когда вернулся, его Ду-

няша, исполосованная шомполами карателей, висела на дереве возле самой избушки.

Так вот и остался Лукаша один. Покинул он свой дом, чтобы не глодала сердце тоска, и ушел навсегда в тайгу. Только изредка выходил к людям сдать пушнину или заключить очередной договор с орсом сплавной конторы на поставку мяса.

А жизнь текла и текла. И вот настала пора передавать кому-то свое ружье, свою любовь к тайге. Ружье он передаст — это вещь. Правда, такая вещь не у всякого имеется — по замочной стенке ружья серебряной змейкой извивается надпись: «Лучшему охотнику Луке Романовичу от сплавщиков».

Ружье, если и не дарить, все равно Федьке достанется — некому больше. А вот как быть с любовью? Тайга — не красная девица, не всякий раз ласкова. Бывают дни, когда она щедро набивает охотничьи сумы, но случается и так, что околдует она тебя, запутает в лесной дреме и уведет из-под носа последнего бурундука. Не жалует тайга людей нерасторопных, малодушных. А каков-то Федька будет? Сумеет ли он принять ее, матушку, всей душой, полюбить до гробовой доски такую, какая она есть: то шибко добрую, то чересчур скупую.

Отец Федьки умер три года назад, оставив троих ребят. Младших отдали в детдом, а старший, Федька, остался у мачехи. Та помыкала им, как хотела. Федька и навоз в коровнике убирал, и печь топил, и воду носил. Но мачехе было мало — она корила его куском хлеба, ругала за пустячные ребячьи проказы. Когда же в дом стал похаживать сплавщик с лихо закрученными рыжими усами, Федьке вовсе житья не стало. В это-то время и появился в доме старший брат Федькиного отца Лукаша. Он пришел выпивший, обругал мачеху последними словами и забрал Федьку с собой в тайгу.

У мальчика никто не спросил, хочет он или не хочет ходить по тайге, принимая на себя тяжести и муки охотничьей жизни. Робким, забитым рос Федька. Лукаша не любил слабых характером людей и оттого держал Федьку в особой строгости. «Ничего, со временем поймет, что для его же пользы это, — рассуждал Лукаша. — Может, выйдет из него охотник».

Вчера вечером плыли они по реке. Горы подступали к берегам, становились все выше и мрачней. Течение убыстрялось. Откуда-то доносился приглушенный, все усиливающий-

ся шум. Казалось, в горах дует сильный ветер, шевеля вершинами кедров и сосен.

Федька перестал грести и, направляя лодку веслом в стрежень, с любопытством поглядывал то на голые, морщинистые выступы скал, за которые в страхе уцепились хилые, кривые сосенки, то на Лукашу, сидевшего к нему спиной посреди лодки и привычно посасывающего трубку.

Приближались к Почивалинскому мысу. Две недели назад они поднимались вверх по реке. Федька шагал с бечевой по берегу, а Лукаша рулил кормовым веслом. Встречное течение возле мыса было такое сильное, что небольшое расстояние они преодолевали больше часа. А когда миновали мыс, Федька спросил у Лукаши, почему он называется Почивалинским.

— Много разного народу почивает возле этого утеса, — задумчиво ответил Лукаша.

Течение забирало влево, к низким, будто обглоданным каменным ярам, которые дальше становились круче. Отброшенная ими река поворачивала вправо, делая шестикилометровую дугу. Если же идти через седловину, то до другой стороны дуги всего полкилометра. Федька ожидал, что Лукаша сейчас повернется к нему и скажет: «А ну, вылазь! Кума с возу — кобыле легче». Но Лукаша достал из-под брезента патронташ, опоясался им, взял ружье, заглянул в стволы и, вложив заряды с пулями, приказал:

— Подверни к берегу.

Федька изумленно округлил глаза и не сразу сообразил, чего хочет Лукаша.

— Уснул?

Федька торопливо загреб с правого бока. Легкая долбленка качнулась и понеслась к берегу. Лукаша стоя набивал трубку и, когда лодка ткнулась в камешник, сказал:

— Капканы мне надо проверить на перевале. Поплывешь один. — Он шагнул на отшлифованный водой плоский камень и добавил: — Да соображай, как плыть-то!

Федька не знал, что ответить. Лодку развернуло течением, отбило от берега и понесло, а он все еще неподвижно сидел на корме.

— Как я один-то?.. — наконец проговорил Федька.

Но Лукаша не обернулся. Его серый дождевик и рыжая шапка замелькали в кустарнике на подмытом, крутом берегу. Оттуда вниз ринулись водопадом камни, и все смолкло.

Губы Федьки задрожали:

— Зачем я пошел в охотники? Угробит он меня. Ну и наплевать! Пропаду — отвечать будете! Душегубы! — ожесточась, приговаривал он, со злостью ударяя веслом по воде.

Рассердился Федька, и страх куда-то пропал.

Впереди показался Почивалинский мыс. Вечерело. Где-то наверху, над навесом гор, еще светило солнце, а на воде было уже сумрачно. Только на той стороне реки верхний край Почивалинского мыса был ярко освещен, и прослойки слюды, упрятавшиеся в граните, сверкали, переливались причудливыми огоньками.

Федька затих и сжался.

Возле скал кипела и трепыхалась, как подстреленная птица, река. Здесь было сумрачно и угрюмо. Федька с трудом одолел робость и, когда лодка приблизилась к расщелине, которая, как пасть огромной рыбины, всасывала воду, он несколькими ударами пересек струю. Подавшись вперед, сидел Федька, готовый в любое мгновение повернуть лодку куда нужно. Секунды решали все. Так же держался в минуты опасности и Лукаша. Он не любил попусту махать руками, тратить свои силы. Федька не думал сейчас о своем наставнике, но бессознательно подражал ему. Он не знал, что с берега за ним пристально следят из-под лохматых бровей потеплевшие глаза старого таежника.

— У-ух! — облегченно выдохнул Федька, когда Почивалинский мыс скрылся за поворотом, и положил весло.

За Куляпинским островом, на пологом берегу, Лукаша разводил костер. Федька подтянул на берег лодку и сказал:

— Я уж думал, у тебя костер до небес, а ты только бересту разжигаешь.

— Мало ли чего ты думал, — буркнул Лукаша и прикрикнул: — Чего стоишь-то? Дров надо на ночь запасать.

«Где же он шлялся так долго?» — с недоумением размышлял Федька, отправляясь по берегу собирать наносные коряги, корни, пни.

Когда закатилось солнце и медленно истлела за горами желтая ленточка зари, Лукаша с Федькой заметали плавную сеть на ближнем плесе. Замет оказался удачным: они вынули из липких ячеек сети с полпуда хариусов и одного ленка. Федька померил ленка и, не говоря ни слова, выбросил за борт. Старик очумело вытаращил глаза. А когда пришел в себя, обрушился на племянника с отборнейшей бранью.

Но Федька коротко отрезал:

— Не мерный.

Лукаша опять уставился на него с открытым ртом и после продолжительной паузы, уже более мирным тоном, начал толковать Федьке, что самый вкусный ленок как раз и есть маленький и что из-за его беспутной головы они лишились редкостной ухи.

— Харюзы есть, из них уха не хуже наварится, — буркнул Федька и укоризненно добавил: — Руки-то у вашего брата загребущие, глаза завидущие, не думаете того, что и после вас люди на свете жить останутся и жрать им тоже захочется.

— Ты... это... не больно!

Но чего «не больно» — Лукаша так и не нашелся сказать. Он был и удивлен и обрадован Федькиной дерзостью. «Обламывается парень, самостоятельней делается. Хорошо!» Правда, Лукаше не понравилось Федькино отношение к добыче. Лично он, Лукаша, никогда и ничем не разбрасывался. Разве только червонцами после удачной охоты. Ну, так ведь это под пьяную руку. Опять же червонцы, они что — бумага! Но Лукаша начинал понимать: пришли другие времена, и охотник должен быть другим.

И сейчас, сидя у костра и вспоминая вчерашнюю историю, Лукаша с удовлетворением отметил: «Да, вот оно, время, вот она, тайга-матушка, как обтесывает парня». Но тут же Лукашу начали донимать сомнения. Многому Федька научился, перенял с трудом и слезами, но появился ли в нем тот таежный нюх, без которого нет настоящего охотника? Вот занемог он — и плывут они без добычи. А бывало ли такое, чтобы он, старый охотник, не сдал на базу орса сплавконторы столько мяса, сколько требовалось сплавщикам? К пятнадцати годам Лукаша уже имел на своем счету двух убитых медведей, лося и четырех маралов. А Федька что? Спит себе у костра, посапывает. Ему наплевать, что его собственный дядя впервые в жизни будет моргать глазами перед начальником орса и тот, может быть, предложит ему переходить на пенсию. Досадно стало Лукаше от этих мыслей.

— Эй, Федька! — крикнул он раздраженно, но племянник и ухом не повел. Тогда Лукаша сдернул с Федьки полушубок и потряс его за плечо. — Да повернись ты, варначина, на другой бок! Эк ведь храпишь, прямо хоть уши глиной замазывай!

Федька вскочил и, утирая ладонью губы, сонно забормотал:

— Что?.. Что?.. Плыть пора, дядя Лукаша?

Лукаше стало неловко: зря потревожил парня, но он все же пробубнил:

— Чаю надо прежде напиться, а после уж про отплытие думать. Да чай-то не к спеху, успеем налить брюхо. Поспи еще.

— Не-е, раз уж проснулся, сбегаю.

Федька схватил чайник и поспешил к реке. Было слышно, как, наполняя чайник, булькала вода, бренчала крышка. Затем все стихло, и через минуту из тьмы появилась зябко вздрагивающая фигура подростка.

— Кипяти, дядя Лукаша, — сказал Федька, — а я смородинки наломаю.

— В потемках-то где ты его сыщешь? — буркнул Лукаша. — Вечор надо было думать. Сейчас вот по мокрой траве полезешь... — И неожиданно сердито спросил: — Ты проснулся али все еще дрыхнешь? Ты какую дрянь в чайник начерпал?

— Воду, в реке...

— «Воду... в реке...» — передразнил Лукаша. — Я и без тебя знаю, что в реке не самогонку черпают. А с чем воду-то принес, глядел? — И подцепил рукой из чайника обрывки лопухов и травы. — Это для навару? — Но тут же встрепенулся, пододвинулся к костру и, разглядывая траву, торопливо заговорил: — Погоди, погоди, Федька! А ну, поди сюда! Гляди, чего у меня на ладони?

— Ну, водоросли... Экая беда! Не заметил, темно. Давай схожу, сменю воду — не тяжело.

— И-и-ых, ба-албе-ес! — почти простонал Лукаша.— «Водоросли»! Да какая водоросля-то? Откуда она взялась? Почему в чайник попала? Подумал ты об этом? Объедки ведь это. На вот, гляди! — Лукаша поднес к самым глазам Федьки свою жилистую, испещренную шрамами руку.

На мокрой ладони лежали обрывки водорослей.

— Шевели мозгами! — приказал старик. — Приплыли объедки из Куляпинской протоки. На этой стороне, вверху, кроме нее, поблизости заросших мест нету. Объедки еще не осклизли, видишь, свежие на концах — значит, сохатый кормится в протоке. Уразумел?!

— Понял, дядя Лукаша. А... а может, он уже ушел?

— Не должон. Сейчас самое время для кормежки. Ты поменьше гадай. Бери ружье и крой! Эх, ноженьки мои, худо бегать стали... Я бы завалил его. Глаз-то у меня еще востер.

Да подползай тише, понял? Ну, чего рот открыл? Беги, говорю. Ждать он тебя будет?

Когда Федька исчез в предрассветной мгле, Лукаша начал собираться, тихо приговаривая:

— Ежели бог даст удачу, не стыдно будет сплавщикам на глаза показаться. А то разрешение на отстрел лося выпросил, а явлюсь с пустыми руками. Срам! Ну, поглядим куда ты годишься, охотник! — добавил он, думая о Федьке и, положив в костер большую корягу, пошел в ту сторону, куда и племянник.

Федька сперва бежал по подмытому берегу, но, приблизившись к Куляпинской протоке, тихо свернул в кусты. Холодные брызги сыпались на него с веток. Он прошел всего несколько шагов, а уже промок насквозь.

Половина неба посветлела. На востоке заалела робкая полоска зари, но в кустах было еще темно. Федька старался идти тихо, осторожно, однако под ногами нет-нет да и потрескивали сучья, и парень в душе радовался тому, что поблизости нет Лукаши.

Он вылез из кустов, остановился. Совсем недалеко, должно быть в протоке, что-то шлепало, булькала вода, слышалось сдавленное храпение и глухое мычание.

Федька унял сильно бьющееся сердце. Самообладание, всегда нужное охотнику, быстро пришло к нему. А ведь бывало, что при виде рябчика или утки Федька дрожал от азарта и стрелял мимо.

«Что это? Не может быть, чтобы лось так шумел. Он зверь осторожный», — подумал Федька, тихо, как мышь, прокрался к зарослям черемушника и раздвинул его. С кустов посыпались в воду черные ягоды.

В верхнем конце протоки, там, где было мелко и росло много водорослей, происходило что-то непонятное: два огромных зверя, сцепившись, метались в воде из стороны в сторону. Их темные силуэты то ясно вырисовывались в отблесках зари, то исчезали в прибрежной тени. Федька, прижимаясь к кустам, побежал дальше и, когда снова выглянул, ахнул: большой бурый медведь сидел верхом на лосе и драл его когтями. Лось, высоко закинув голову, возил на себе урчавшего зверя. Борьба шла смертельная. Вся вода в протоке была взбаламучена. По шее лося струями текла кровь. Мотая головой, лось пытался зацепить рогами медведя. Когда ему удавалось боднуть хищника, тот остервенело рычал и еще яростней рвал хребтину лося.

Федька, потрясенный, стоял у крутого яра, наблюдая страшную битву. Звери не замечали его. Наконец он опомнился, взвел курок, вскинул ружье. На прицел попала голова лося, но Федька перевел дуло на медведя. Зубы у Федьки стучали, ружье плясало в руках. «Промажу! — мелькнуло в голове. — Надо успокоиться». Но в это время лось глухо замычал и рухнул на колени.

Медведь торжествующе рявкнул.

Не раздумывая больше, Федька спустил курок. Ухнул выстрел и раскатился над рекой. Хищник забарахтался в воде, заревел, а потом, путаясь в петлях водорослей, проворно заковылял к острову.

Федька выбросил дымящуюся гильзу, вставил новый патрон, и еще одна пуля настигла медведя. Тогда зверь остановился, зарычал и, встав на задние лапы, пошел на Федьку. На середине протоки, он, будто нехотя, начал оседать: лапы его судорожно загребали воздух.

Лось успел подняться с колен и стоял в воде пошатываясь. Он с хрипом втягивал воздух мокрыми ноздрями. Когда медведь кинулся снова в протоку, лось, взметая ногами воду с илом и зеленой кашицей ряски, бросился к берегу, на котором стоял Федька. Тот похолодел, отпрянул в сторону. Лось пронесся мимо него, сделал прыжок на обрыв и грузно сполз назад. Не отрывая взгляда от поверженного медведя, Федька краем глаза увидел, как могучие копыта лося цеплялись за камешки, коренья. С тихим мычанием, похожим на стон, лось смотрел на Федьку. Тело его вздрагивало, в глазах застыли боль и ужас и, как показалось Федьке, мольба. Федька отвел ружье. Лось все-таки собрался с силами, встал и побрел вдоль берега. Впалые бока его грузно поднимались и опускались, шерсть побурела от крови. Но шаг его становился ровнее, и уходил он все быстрее и быстрее. Вот лось свернул в черемушник и словно растаял в нем. Только желтые листья, лениво кружась, падали в воду с кустов.

Засмотрелся Федька на лося, а когда обернулся, увидел перед собой взъерошенного медведя. Зверь, покачиваясь и сипло дыша, грозно шел на него. Шел на последний бой. Федька был уверен, что медведь издох, и сейчас до того растерялся, что стал пятиться к яру. Спина уперлась в обрыв. Дальше отступать некуда. Не соображая, что делает, Федька отбросил дробовик и выхватил из-за пояса широкий охотничий нож.

Сверкая маленькими глазками, широко раскрыв окровав-

ленную пасть, зверь неумолимо приближался. Вот между ними осталось уже шага три. Горячее дыхание зверя вместе с брызгами крови плеснулось в лицо подростка. Он невольно защитил левой рукой лицо, а правую с ножом занес над головой. В это время откуда-то сверху раздался выстрел, и медведь, качнувшись, рухнул у Федькиных ног.

— Кто же так делает? — услышал Федька спокойный голос Лукаши. — Ружье в сторону — и за ножик! Храбрый дурак не лучше умного труса!

У Федьки будто разжалась пружина внутри. Он сел на ком глины и какое-то время был совершенно бессилен и не мог ничего сказать, а только озирался по сторонам, и всякий раз взгляд его натыкался на медведя, из головы которого, густая, все медленней и медленней текла кровь.

Лукаша спрыгнул с яра, огляделся по сторонам. Взгляд его задержался на лосиных следах. Он повернул сапогом камешек, на котором запеклись капельки крови, тихо спросил:

— Сохатого-то смазал?

— Смазал, дядя Лукаша, — отводя глаза в сторону, сказал Федька.

Старый охотник пристально посмотрел на племянника, затем открыл свою двустволку, вынул пустую гильзу и заряженный патрон. Он продул стволы, заглянул в них, мимоходом обмахнул рукавом ложу ружья и голосом, в котором смешались сожаление с торжественностью, промолвил:

— Давай сюда дробовичишко-то! Давай, давай! Чего глаза вытаращил? Из моего мазать и стрелять по чему попало грешно. Понял?! — С этими словами Лукаша протянул озадаченному Федьке двустволку. Потом достал трубку, закурил, и оба долго молчали. — А врать не учись. Марку настоящего охотника вранье изничтожает. Лося-то отпустил, пожалел?

Федька стоял потупившись.

— Ну и... ладно сделал. У меня хоть загребущие руки, а тоже иной раз понимаю, что к чему. — Лукаша спохватился и, видимо, застыдившись того, что расчувствовался, ворчливо закончил: — Чего стоишь-то? Свежевать надо медведя. Твоя добыча, ты и свежуй. Первый зверь—это, брат, на всю жизнь в памяти останется.

Федька все еще стоял не двигаясь, не в силах оторвать взгляда от тонких серебристых буквочек, выведенных на Лукашином ружье: «Лучшему охотнику...» Да, теперь он и сам понимал — это на всю жизнь...

ЗАХАРКА

Лед на Енисее еще не тронулся, но перелетные птицы уже появились. В Заполярье всегда так — птицы опережают весну. Где-то в верховьях Енисея они прилетают на полую воду, потом настигают ледоход и обгоняют его.



Колхозные бригады охотников в эту пору выезжают на промысел за птицей.

Захарка в колхозе еще не состоял, ему было всего двенадцать лет. Но он тоже засобирался на охоту: надо было помогать семье. А семья немалая — четверо ребят (себя Захарка к ребятам уже не причислял). Отца на войне убили, работница в доме одна мать. Она на рыбоприемочном пункте работала — резальщицей.

Станок Агапитово, где жил Захарка, совсем мал, всего несколько домиков. Работы здесь никакой сыскать невозможно, одна рыболовецкая бригада в Агапитово — и все. Самое большое начальство здесь бригадир и пекарь. А до правле-

ния колхоза и сельсовета более сотни километров. Заполярье — здесь такие расстояния между селениями не в диковинку.

Захарка ловил зимой силками белых куропаток и однажды заплутался и чуть не замерз. Мать после этого не пускала Захарку в лес.

К весне совсем трудно стало семье. Приварка нет, только рыбы иной раз бригадир давал, а без приварка ребятам пайка хлеба не хватало — растут. Паек же хлебный не растет. Все тот же, что и в войну. Но докатился и до Агапитово слух, что скоро карточки на хлеб отменят.

А пока Захарка приладился к пекарю в помощники: дровишки пилит, колет, печь топит, пол моет — что заставит пекарь, то и делает Захарка. Лишь бы накормил. Поест Захарка в пекарне, значит, его паек матери и братишкам с сестренкой достанется.

Надо жить, до лета дотягивать. Летом в Заполярье — лафа: дичь, яйца, рыба, ягоды, грибы, орехи. Летом в Заполярье жить можно.

А между тем пекарь совсем зазнался. Ну кто он такой в нашем нынешнем понимании — пекарь? Так себе — личность, вымазанная мукой. Но в те годы пекари пользовались большим авторитетом. Агапитовский пекарь, к примеру, жил по поговорке: «Сыт, пьян и нос в табаке».

Тут требуются некоторые пояснения: дело в том, что в маленьких поселках хлеб не только выпекался на пекарне, но и отпускался здесь же. Вот и выходило, что власть в ту пору у пекаря была полная. Захочет хлеб отпустить — отпустит, не захочет — не отпустит. Иди жалуйся на него — за сотню-то верст.

Ну, а Захарку пекарь вовсе заездил, и плата парнишке одна — кусок хлеба.

Но все стерпел Захарка, дотянул до весны.

Птица пошла, собрался пекарь на охоту — гусятинки захотелось. Мать Захаркина попросила его:

— Возьмите Захарку, Ануфрий Пантелеймонович. После того случая боюсь я одного-то отпустить, а он рвется на охоту.

— Хлопот с ним не оберешься, — поморщился пекарь, — расхнычется.

— Да что вы! (Пекарь был единственным человеком в поселке, которого называли на вы). — Он у меня ко всему привычный. — Мать хотела сказать, что и охотник Захарка

удачливый, с семи лет ружьем владеет, а в ходьбе за ним и взрослому не угнаться, да не успела ничего разъяснить, пекарь недослушал ее:

— Ну, ладно, ладно, — кисло согласился он, — возьму. Будет обед готовить, вещи сторожить.

И вот они шагают по песчаному берегу — задастый, как баба, пекарь впереди, чуть кривоногий, коренастенький Захарка — сзади. У Захарки на ногах резиновые сапоги с калошами. Калоши на резиновые сапоги, конечно, не надевают. Но это когда сапоги целые. А если у них нет подметок, тогда с калошами тоже ничего.

Пекарь в болотных сапогах — вытяжках. Рюкзак у него казенный — с застежками, пряжками, железками. У Захарки просто мешок из-под муки, с опояской вместо лямок. Ружье у пекаря — бескурковка заграничная, с выгравированными зайцами и утками на щеках. У Захарки старая «тулка» без всяких зайцев. Но «тулку» эту Захарка ни в жизнь и ни за какие заграничные ружья не отдал бы, потому как отцовская она.

Километров пятнадцать отмахали пекарь с Захаркой. Пришли на огромный песчаный мыс. Через этот мыс каждую весну переваливают караваны птиц.

Пекарь приказал Захарке отабариваться — разводить огонь, устраивать ночлег, а сам принялся делать скрад на мысу.

Захарка, ловко орудуя топором, нарубил пихтача, сделал «козырек» и развел под ним огонь. Потом спустился на мыс и соорудил себе скрад.

Пекарь посмотрел на мальчишку с любопытством, усмехнулся и спросил:

— Ты чего?

— Как чего?

— Делаешь, спрашиваю, чего?

— Скрад делаю, не видите, что ли?

— Скра-ад? Зачем?

— Известно дело зачем — стрелять.

— П-сс-сых, — засмеялся пекарь, будто с натугой чихнул и тут же боднул Захарку взглядом.— Стрелок сопливый! Мешать только! Сиди уж на стане, при багаже. Две-три утки уделю потом.

— Мне вашего не надо. Я сам добуду.

— Ну, дело твое. Только гляди. Я лютой на охоте — упреждаю...

— Ладно пужать-то, пуганый уже, — буркнул Захарка и занялся своим делом.

Ночью пекарь ворочался с боку на бок. Привык в тепле нежиться и оттого мерз, хотя одет был толсто. А Захарка в телогрейке, под которую поддернута шерстяная кофта матери, в латаных ватных брюках и в сапогах с калошами спал крепко, но рывками. Через час-полтора он вскакивал — иначе застудишься. Подживив огонь, Захарка распахивал телогрейку, грел грудь, спину, потом сымал сапоги с калошами и калил портянки. Затем он засовывал руки в рукава и падал на пихтовые лапы, и заставлял себя тут же заснуть, чтобы не терять ни минуты. Знал парнишка, что при стрельбе влет нужно быть бодрым, хорошо отдохнувшим, чтобы и рука и глаз были верны.

Рано утром Захарка скинул телогрейку и побежал к воде. Он умылся в Енисее почти до пояса. Пекарь съежился, глядя на Захарку, и даже губы у него посинели.

— Загне-ошься, — пообещал он парнишке.

— Ничего, ничего — быстро натягивая на себя одежду, сказал Захарка, — зато потом жарче будет, а вас, как от огня отойдете, цыганский пот прошибет, помяните мое слово.

Утро пришло в Заполярье! Пески на берегах чуть курились. Снег с песков уже сошел, и они жадно, неутолимо вбирали солнечное тепло. В кустах и по закрайкам озер снег еще лежал, плотный, с ноздреватой корочкой наста. Днем эта корочка рассыпалась со стеклянным звоном.

Сидит Захарка в скраде, поглядывает, птицу ждет.

Славный скрад у Захарки получился. Затащило еще в прошлую весну на мыс кусок земли с дерном, и весь он пиками тальника взялся, пальца не просунешь — так густ тальник. Захарка лозины тальника в середине вырубил, а вершинками крайних связал — вот и готов скрад. Главное, птицы помнят: в прошлом году осенью здесь этот островочек тальника был, и не станут облетать его.

Песчаный мыс изогнутым крылом врезался в Енисей. Темны, огромны забереги у Енисея. Две-три иные реки уместятся в одну такую заберегу. И с той и с другой стороны уже давно отпаялся лед от берегов. А вот стоит же. Держит его север и еще слабо нажимает юг.

Однако вон в тихой, студеной заберегe частые кружки, будто от дождя. Это селедка — зубатка начала появляться. значит, не сегодня — завтра река тронется.

И вместе со льдом пойдет зубатка.

Будут пичкать льдины селедку, выталкивать ее на берег косяками — знай собирай в корзины. Ну чтобы вот этой зубатке идти раньше или повременить день — другой и переждать ледоход? Нет, на смерть прет, а не отступает от своих законов.

Попробуй разбери их, эти законы природы.

Сидит Захарка, думает. Холод к ногам подбирается, не больно стойки калоши против стужи.

Высоко проходят громадные табуны уток. Эти идут еще дальше, им путь к Енисейской губе, к Диксону, к Ледовитому океану.

Но вот за мысом, над кромкой леса изломанный угол. Он растет, ширится. То был как будто простым карандашом отчеркнут на бледном небе, а теперь уж словно углем, вон уж и пунктир образовался. Дробно рассыпался косячок по небу, распался — точки, мячики, комки. Ближе, ближе. Га-га-га-га! Га-га-га-га! Гуси.

Идут гуси. Медленно идут, устало. Огромный путь одолели они. Горы, реки, моря оставили позади. Сейчас они почти «дома» и оттого летят без строя, неторопливо. Надоела им дисциплина, измотал изнурительный перелет — пора и подкормиться, пора передохнуть.

По всему видно, они норовят сесть на мыс. Вот уже снижаются, предупреждая друг друга, дескать, смотреть и еще раз смотреть!

И в это время — трах-пах!

Пекарь выстрелил, не утерпел.

Колыхнулась, рассыпалась и прошла над скрадом пекаря стая под самым его носом. Захарка на колено привстал, выцелил одну птицу, ударил, и она грузно упала в песок, взбив легкое облачко.

Пекарь вдогонку гусям из обоих стволов саданул, но они были уже далеко, не достанешь дробью.

Прибежал пекарь к Захарке, глаза у него большие:

— Покажи гуся-то. — И стал вертеть птицу в руках, пальцами оглаживать. — Ха-арош, ах ха-арош! Ловко ты его. А я, понимаешь, поторопился.

— Ну, ничего, — успокоил пекаря благодушный от удачи Захарка. — Прилетят еще... Во! Слышите?

А вдали снова: га-га-га.

Юркнули в скрады Захарка и пекарь. Но этот табун прошел стороной. Зато тут же и один за другим низко промчались три табуна уток. Захарка выбил трех, а пекарь пять

уток. Утки — не то, что гуси — теряли друзей без криков и без паники. Казалось, они просто на ходу вытряхивали из табуна над скрадами одну-две птицы и, только слегка дрогнув, спешили без оглядки дальше.

Все шло как будто хорошо. Пекарь ликовал:

— Ка-ак я их, понимаешь, лупану — и посыпались они. Бой у ружья — сила! Да и стреляю я отменно. Это уж давеча по гусям просто поазартничал...

Захарка молчит, только слегка морщится. Нехорошо это, трещать на охоте, похваляться. К охоте Захарка относится со спокойной серьезностью — она для него не забава, а работа, дающая пищу, жизнь. Так же к охоте относился и отец Захарки, а он был знатным промысловиком.

— Ша! — закричал сердито Захарка. — Летят! — И пекарь послушно затих в своем скраде.

Шла большая, туго сбитая стая гусей — ворогуек. Шла она ровно, без суеты, роняя редкую перекличку на землю.

И на этот раз пекарь поторопился. Думал, должно быть, как бы Захарка не опередил его. Он уже убедился в том, что болтать и мазать Захарка на охоте не любит.

Плохо стрелял пекарь, в табун, наудалую. Два гуся после его выстрела колыхнулись и пошли на сторону, к забереге. Вспахав лапами белые борозды на темной воде, гуси тоскливо закричали, провожая родную стаю.

Захарка прихватил последнего гуся. Шел он низко, на верный выстрел. Гусь упал чуть подальше скрада, но выправился и попробовал подняться на крыло. Захарка ринулся наперерез и в это время: хлесь! Почти у самых ног Захарки прошла дробь. Парнишка оторопел.

А пекарь выскочил из скрада и на Захарку с кулаками махается и орет:

— Ты чего это за чужой птицей гоняешься? Ишь, ловкий какой... Я их трех прихватил. Два-то вон на Енисей ушли, а этот пал. А ты — ишь...

Видел Захарка — врет пекарь. По глазам видел, по голосу слышал — врет.

— Как тебе не стыдно! — сказал он пекарю, сразу переходя на ты. — Детишек голодишь...

Пекарь аж захлебнулся от таких слов. Он привык к почтению, привык, чтобы его на вы называли.

— Ну ты, оглодыш! — замахнулся он на Захарку. — Гляди у меня! А то я властью отца твово покойного оттаскаю за уши!

— Крохобор! — презрительно сощурился Захарка. — Властью отцовской... При отце ты не посмел бы у пацана отбирать. Властью! У меня еще полон патронташ зарядов. Срежу, как чирка! По-огань!

Пошел Захарка прочь, в свой скрад, коренастый, кривоногий, не по годам скроенный, не по летам рассудительный и злой. Жизнь сделала таким Захарку.

Больше не разговаривал Захарка с пекарем, и к хлебу его не притрагивался, хотя тот юлил и все время с едой насылался.

А почему он юлил — выяснилось после.

Четырех гусей добыл Захарка и уток штук двенадцать, можно сказать, на месяц семью едой обеспечил. А пекарь так с одним захапанным гусем да с несколькими утками домой плелся. Идет и все разговор подводит к тому, чтобы разделить пополам добычу. Захарка делает вид, будто не понимает намеков пекаря. Прет тяжелый мешок, сопит, пóтом обливается и помалкивает.

Возле поселка пекарь без обиняков заявил:

— Слышь, ты, сосунок! Не будет того, чтобы меня весь станок срамил, чтобы я ославился из-за того, что ты меня обстрелял.

— По бутылкам да по консервным банкам мастер стрелять, теперь по птице поучись! — процедил сквозь зубы Захарка и тут же добавил: — А насчет дележа охолони и рот не раскрывай. У меня детишки и мать.

— Ах так! — рассердился пекарь. — Значит, охолони! Значит, ты понятья того не имеешь, что кабы не я, так детишки твои и ты вместе с ними ноги бы давно протянул. Подкормил на свою шею, подкорми-ил. Н-ну, погоди!

— Спаси-итель! — скривил губы Захарка и себе под нос: — Вша!

Пришел Захарка домой, супу наварил, ребят накормил, сам наелся и еще матери оставил.

Мать явилась в слезах:

— Что ты там наделал? Чем пекарю-то досадил? Зверем он на меня смотрит и говорит, что с сего дня никаких льгот нам не будет.

— Плевать на такие льготы! — рассердился Захарка. — Корочки, как собакам, подбрасывает, чтобы я батрачил на него, как на кулака при давнем времени. Вот через месяц-другой карточки отменят, и оплывет он, как червивый гриб. Льго-о-ота!..

Прошлым летом ездил я в Заполярье и побывал на осенней охоте возле станка Агапитово. Довелось мне там ночевать у рыбацкого бригадира Захара Тунегова, того самого Захара, который уберег семью от голода и еще в детстве сделался взрослым.

— Ну и как вы тогда? — спросил я, когда Захар рассказал мне эту историю, не столь веселую, сколь грустную.

— Выжили. Тем же летом полегченье с хлебом стало, прибавили нам паек, как заполярным жителям, а потом вовсе карточки отменили. Но еще до отмены карточек посадили пекаря-то. Подмешивал он чего-то в хлеб — вот и угодил, куда надо. — Захар вынул трубку, постучал ею о камень, набил табаком и добавил: — А я вот и по сей день его, подлого, забыть не могу, так-то он мазнул сажей по моему детству, так-то он отяжелил его, и без того нелегкое. — Захар помолчал, глубоко затянулся. — У самого вон трое сейчас растет, стараюсь, чтоб ни в чем нужды не знали. Жена иной раз говорит — балую. Может, и балую. За себя балую, за своих братьев и сестренку.

После этого Захар долго молчал. Сидел он на опрокинутой лодке и молчал. Над Енисеем торопко проносились стаи уток, куликов. Кружились и вскрикивали чайки. Начинался осенний перелет. Птицы отлетали на юг, в теплые края, замыкая свой ежегодный, великий путь.

ОГОНЬКИ

Я с папой и мамой пять лет назад уехал в город, потому что настала мне пора учиться. А дедушка не захотел уезжать. Конечно, какой ему интерес в городе, если он всю жизнь проработал бакенщиком у Караульного переката, знает там каждый камешек и реку любит? Вот я — это другой разговор. Мне в городе интересно, да и то больше зимой, когда в школе учусь. А летом меня всегда тянет к дедушке, в белую избушку на берегу реки. Там я родился и жил до семи лет, туда и теперь уезжаю в летние каникулы.

Нынешним летом я решил взять с собою и Андрюшку. Он мне сродни приходится. Не знаю уж кем, шурином или зятем — неважно я разбираюсь в этой самой родне. Словом,

его мать — племянница папиной матери, моей бабушки, которая давно умерла и я ее не помню. Андрюшка паренек тихий и хилый, оттого что мало ест. Аппетита, говорят, у него нету.

Ну, папа и сказал мне:

— Возьми-ка ты, Серега, с собой Андрюшку. На природе у него сразу аппетит появится. Пусть только дедушка ему почаще весла в руки дает.



И я взял Андрюшку с собой. Мне еще лучше, веселей. Единственное, что умеет делать Андрюшка, — это песни петь. Здорово поет. Затянет что-нибудь, голос у него дрожит, точь-в-точь как у артиста. По вечерам мы с дедушкой любили слушать его песни. Голос Андрюшки разносится далеко-далеко над рекой, а на той стороне, в горах, немного тише откликается другой Андрюшка. Наш уже перестанет петь, а тот будто убегает и все еще поет. Дедушка ласково гладит Андрюшку по голове и говорит:

— Славно, Ондрюха, славно. Спой-ка еще про бурлаков-то.

Хорошо нам жилось. У Андрюшки и аппетит стал появляться. Дома капризничал, даже пряники есть не хотел, а тут

картошку в мундире и уху так наворачивал, что, как говорил дедушка, «только за ушами пищало».

И вдруг дедушка заболел. Мы даже сначала не поверили. Он такой крепкий, совсем не похожий на других дедушек: высокий, сильный, одной рукой на берег лодку вытаскивал. Он и сам не верил, что заболел, только сказал:

— Что-то знобит меня, ребята...

Потом заглянул в старый ящик, весь перепоясанный для прочности жестяными лентами, достал бутылочку, поболтал ее и налил чего-то мутного в стакан. Осушив его до дна, громко крякнул, понюхал корку хлеба, убрал бутылочку в ящик и залез на печь.

— Вот пропотею — и все ладно будет.

Пропотеть-то пропотел, да толку мало. Попробовал дедушка утром спуститься с печки, и чуть не упал.

— Гляди-ка ты, на самом деле вроде захворал, — пробормотал он.

Мы струсили, особенно Андрюшка.

— Ой, Серега, вдруг дедушка умрет, что мы тогда одни...

— Типун тебе на язык! — зашипел я на Андрюшку, и он примолк.

К вечеру дедушка попробовал подняться еще раз. Мы помогали ему. Но у него сразу закружилась голова, и он сел на пол возле печки.

— Дедушка, деда, что с тобой? — обнял я его за костлявые плечи.

— Захворал я, брат, Серега... рассохся... стало быть, года....

Он облизал пересохшие губы и вяло махнул рукой. Тогда я зачерпнул из кадушки воды и подал ему. Дедушка отпил из ковша, отдышался и проговорил:

— Беда, ребята, ночь скоро... бакена...

Меня даже в жар бросило. Про бакены-то я и забыл! С кем же их зажигать? С Андрюшкой? Грести он едва умеет. Здесь только научился. Тоже — растет человек! Мать его близко к реке не подпускала до нынешнего года. Но дедушку я все-таки успокоил:

— Мы зажжем, дедушка, не волнуйся.

— Как-нибудь сплавайте, осторожней... лампы заправьте.

— Не беспокойся, деда, все будет в порядке.

Позвал я Андрюшку на улицу и приказываю:

— Давай бери весла, иди в лодку и тренируйся грести, пока я лампы заправляю. Гляди, как следует тренируйся!

Обычно дедушка выплывал к бакенам в то время, когда солнце скрывалось за горы и от Шумихинского утеса ложилась тень почти через всю реку. Я решил плыть раньше: Андрюшка — не дедушка.

И вот мы поплыли. Андрюшка гребет, а я направляю лодку кормовым веслом и учу его:

— Можно еще и из-под лодки веслом орудовать — это скорее. Вот так. Ну-ка садись на руль.

Андрюшка пересел на корму. Но не успели мы проплыть и десяти метров, как лодку повернуло и понесло вниз по реке, хотя Андрюшка из всех сил старался направить ее против течения. Больше я не давал ему кормовое весло. Да он и не просил.

До верхнего бакена, который стоял в самом начале Караульного переката, надо было подниматься километра полтора. Потом зажечь на нем сигнальную лампу и спускаться к остальным четырем бакенам. Я не раз плавал туда с дедушкой и отцом и знал, до какого места надо подниматься и как держать лодку, чтобы угодить на верхний бакен. С трудом миновали мы Шумихинский утес, возле которого вода бурлила, крутилась и рокотала. Андрюшка вспотел, но не жаловался. У седого камня, похожего на склонившуюся над водой старушку, мы задержались. Я начал выплескивать веслом из лодки воду и сказал Андрюшке:

— Отдохни малость. Дальше сильно грести придется, чтоб не снесло.

Андрюшка сперва греб бойко, и лодка шла хорошо. Берег удалялся. Камень-старушка превратился уже в темный бугор. Но вот весла стали подниматься тяжелее и медленнее, бить по воде, брызгать. Я взглянул на маленькую пирамидку, которая покачивалась на легких волнах, и крикнул, работая изо всех сил кормовым веслом:

— Не мажь! Проворней греби!

Но бакен спокойно покачивался и проносился мимо нас. Я отбросил кормовое весло, подскочил к Андрюшке и стал толчками помогать ему грести. Но было уже поздно. Мы очутились в нескольких метрах ниже бакена, и волнистая струя воды от его треугольной крестовины подхватила нас, понесла.

— Размазня! — заорал я на Андрюшку. — Это тебе не песни петь.

Андрюшка виновато опустил голову. А мне стало неловко. Насчет песен я зря его укорил. Не надо было. Да сгоряча и не такое сорвется. Не глядя на него, я сказал:

— Ладно, греби, а то еще и мимо другого бакена пронесет. Надо было выше подниматься, тогда и не промазали бы.

— А как тот бакен? — робко спросил Андрюшка.

— Как, как! — снова разозлился я. — Черт его знает как! Свяжешься с таким, как ты, наживешь горя. Ловись хоть за него хорошенько. Да не прозевай!

Я подправил лодку боком к бакену. Андрюшка так старался не прозевать, что, хватаясь за крестовину, почти весь подался из лодки. Она накренилась и зачерпнула бортом. Загремел шест, забрякали лампы. Я обмер, но быстро опомнился, успел выровнять крен и закричал:

— Тише, ты! Чуть не утопил!

Андрюшка цепко держался за бакен и ничего не отвечал. И даже после того, как я зажег лампу, он все еще не отпускался.

— Брось держаться — примерзнешь, — проворчал я.

Зажечь лампу и вставить ее в фонарь — дело пустяковое. Но не светятся еще три бакена, и один из них — вверху. Его надо все равно как-то зажигать. Бакен стоит в самом опасном месте.

— Ну, передохнул?

— Ага.

— Берись за весла, начнем биться против течения.

Андрюшка поплевал на руки, подумал и снял с себя рубашку. Я сделал то же самое.

— Понеслась! — скомандовал я и принялся грести своим веслом.

Андрюшка уперся широко расставленными ногами в поперечину, работал из всей мочи.

Хлопали весла, плескалась и шумела за бортами вода, в которой, словно раскаленные пружинки, сжимались и разбегались последние отблески заката. Где-то вверху по реке, у скал, тоскливо закрякала утка. Ей никто не откликнулся. Она крякнула еще раз и умолкла. Зажженный бакен удалялся от нас очень медленно. Руки у меня начали слабеть, делаться непослушными. А каково-то было Андрюшке! Но, к моему удивлению и радости, он греб все еще крепко.

— Немного уж до бакена, совсем маленько, — приободрял я его и еще сильнее и чаще опускал свое весло в воду.

Но вот я почувствовал, что лодка замедлила ход — Андрюшкины весла стали бить вразнобой. Выдохся Андрюшка.

— Давай, друг! Давай, Андрюш! — просил я его. — Ну, раз! Раз! Раз! Совсем чуточку осталось.

— Сереж... не мо... не могу... силы... уже...

— Андрюшечка, милый, нажми! Дружочек, капельку! Вот он, бакен... Дедушка...

Андрюшка как-то всхлипнул и ударил еще несколько раз по воде веслами. Нос лодки медленно приближался к белому бакену.

Я из последних сил приналег и крикнул:

— Ловись! Быстро!

Трясущимися руками Андрюшка ухватился за крестовину. Я перебрался на нос лодки и привязал ее к бакену цепью.

— Ф-фу! — разом вырвалось у нас.

Долго сидели неподвижно.

...Была уже поздняя ночь, когда мы приплыли к избушке. Убирая запасные лампы в чулан, я услышал из окна дедушкин голос:

— Это ты, Серега?

— Я, дедушка. Все в порядке. Лежи спокойно. Мы сейчас костер разведем, картошки сварим. Будешь есть?

— Буду, буду. Полегчало мне вроде. А где Ондрюха-то? Умыкался, поди, с непривычки, горюн.

Когда мы зашли в избушку, дедушка в валенках и старенькой ватной тужурке сидел у окна.

— Гляжу, нету и нету вас, — сказал он. — Река ведь, до беды недалеко. Слез с печки-то, а на улицу сил не хватило выйти, так вот у окна и сторожу.

Дедушка достал из стола цветастый мешочек, вытряхнул из него на свою широкую ладонь все леденцы, сколько их там было, разделил пополам и отдал нам.

— Пососите с устатку, пока картошка варится. Завтра лампы гасить и зажигать вам же, наверное, придется. Кто его знает, когда я поправлюсь. Ну, да теперь душа у меня спокойна — помощники вон какие приехали...

Мы сидим на высоком берегу, сосем и хрумкаем леденцы. Рядом, над костром бормочет котелок с картошкой. На реке, будто далекие звездочки, мерцают огоньки бакенов, и мне почему-то кажется, что они хитро перемигиваются между собой: дескать, досталось братцам.

В темноте появился зеленый огонек и красный. А потом показалось сразу много огней, как в городском доме. И вдруг рявкнул гудок. Не стало слышно, как шумит перекат, и ночная тишина сразу пропала. Только доносится с реки: хлоп-хлоп-хлоп — плицы пароходного колеса об воду шлепают.

— Андрюшка, Андрюшка! «Короленко» идет! — кричу я.

Но Андрюшка не откликается. Он уже спит. Так сидя и спит. В кулаке у него крепко зажаты дедушкины слипшиеся леденцы.

ХОЗЯЙКА ЛЕСНОЙ ИЗБУШКИ

— Цып-цып-цып! — кричала Сима.

К ее ногам, многоголосо чивкая, со всех сторон сыпались желтенькие цыплята. С солидным материнским квохтаньем из крапивы появилась наседка. Сима одной рукой бросала на крыльцо избы крупу, другой загораживала глаза от солнца. Она зорко следила за коршуном, который делал медленные круги над избушкой.

— Ишь, какой враг! — ругала Сима коршуна. — Две цыпушки уволок! Понравилось. Еще прицеливаешься? Я вот тебе!

И, словно убоявшись Симиного кулачка, коршун начал подниматься выше, дальше и наконец исчез совсем, будто растаял в ярком солнечном свете.

Сима пересчитывала цыплят, но те шустро копошились у ног, лезли один на другого, и счет путался. Она снова принималась тыкать пальцем перед собой, пытаясь все же сосчитать:

— Одна, две, три, пять, семь... Ой, да ну же, дурашки, стойте же! Ой, беда с вами. Одна, две, три...

Сима так и не сосчитала цыплят. На сеновале закудахтала курица. Надо было спешить. В последнее время куры наловчились клевать яйца. Прозеваешь — не найдешь даже и скорлупки.

Сима забралась на сеновал, вынула из гнезда еще теплое яйцо, выпустила на волю курицу. Затем принесла воды, начистила картошки, поставила в печку суп и начала прибирать в избе.

Занятая хлопотами по хозяйству, Сима не заметила, как к берегу пристала лодка.

Из нее вышла женщина, одетая в блузку и легкую юбку. Женщина долго привязывала цепью лодку к бревну, потом раздраженно махнула рукой, взяла крупный камень, придавила им цепь и направилась к избушке.

Избушка эта выглядывала одним окном из буйно разросшихся в палисаднике кустов калины, смородины и крыжовника. У раскрытых дверей приезжая остановилась и с удивлением стала глядеть на хлопотавшую в комнате девочку. Была эта девочка худенькая, остроносая, похожая на шуструю синичку. Она вытирала пыль с радиоприемника и напевала:



Я хожу одна, ну что же тут хорошего,
Коли нет тебя со мной, мой друг...

Женщина, улыбаясь, переступила порог и сказала:

— Здравствуй, душечка-девица! И не тоскуй очень-то.

Сима вздрогнула и уронила тряпку.

— Ой, как вы меня напугали! — И, одернув неумело заштопанный передник, она степенно добавила. — Здравствуйте, пожалуйте!

— А где, детка, твои папа и мама? — спросила приезжая, пряча улыбку. Она хотела сказать еще что-то, но осеклась, увидев, как сразу поникла головой девочка.

Лицо Симы стало печальным, а мазок сажи под носом как бы увеличился. Она подняла голову, грустно взглянула на женщину и тихо проговорила:

— У нас нет мамы.

— Не-е-ет? М-м... Ну, ничего, деточка, ничего, не плачь, — растерянно пробормотала женщина и смолкла.

— А я и не плачу. Я сначала все плакала, а теперь уж не плачу. Что же вы стоите? — спохватилась Сима. — Проходите, пожалуйста, садитесь, пожалуйста.

Когда приезжая села, Сима словоохотливо продолжала, как человек, долго ожидавший собеседника:

— Весной наша мама умерла. Я тогда в четвертом классе училась, в поселке, в лесозаготовительном. А у мамы сердце было больное. На реке ледоход начался, мамино сердце и схватило. Папа в город верхом поскакал, да не успел врач...— Сима тяжело вздохнула. — Вон там мама лежит, за огородом.

— Ты, значит, одна хозяйничаешь?

— Ага, одна. Папа мой все ездит, а я все одна, одна...

— Как звать-то тебя, милая? — ласково спросила гостья и своим платком начала вытирать у Симы под носом сажу.

— Что, сажа?.. Симой меня зовут. Когда папа шутит, то называет Серафимой Тимофеевной. Вот он, мой папа, — показала она на фотографию, — на войне снимался.

Женщина нацепила пенсне и внимательно посмотрела на фотографию, вставленную в самодельную рамку.

С фотографии простовато, с чуть заметной улыбкой, глядит сержант, круглолицый, безбровый.

— Красивый мой папа, да? — посматривая через плечо женщины, сказала Сима.

— Ничего, бравый вояка, — ответила та и, повернувшись к Симе, спросила: — Слушай, Симочка, нельзя ли за твоим папой сбегать?

— Ой, что вы! Папа за дальний перевал уехал лесосеки отводить. Он ведь лесник. Без его разрешения леспромхоз здесь ни одного прутика не имеет права срубить.

— Вот незадача...

— А вы с какой просьбой к нему, тетенька? Тоже насчет лесосек, да?

— Нет, Симочка, я по другому делу. Я — новый врач лесозаготовительного поселка. Зовут меня Александрой Карповной, а попросту тетей Сашей. Плыву вот в город с больным, операцию его надо срочно. Мы полагали, что через порог твой папа проводит, а теперь, право, не знаю, как быть.

Сима задумалась, плотно сжала тоненькие губы. Брови, похожие на ржаные колоски, сошлись.

— Как фамилия больного? — спросила она через некоторое время. — Я там на поселке почти всех знаю.

— Фамилия? Вот забыла. В истории болезни записано, да она в лодке. Знаю, что мастером работает и все его называют дядей Костей.

— Дядя Костя! Что же вы? Дядя Костя в лодке, больной! — засуетилась Сима и, повязывая косынку, решительно заявила:

— Я провожу вас через порог.

— Что ты, что ты, не выдумывай! — замахала руками Александра Карповна. — Ты нас утопишь и сама утонешь!

— Быстрей же надо, сами говорите! А чтобы утонуть — не беспокойтесь. Я одна, без папы, может, раз двадцать через этот порог проплывала.

— Сима, а ты правду говоришь? — недоверчиво спросила Александра Карповна.

— Сами увидите, — ответила Сима и пошла из избушки. — Если боитесь — идите через горы, а мы с дядей Костей поплывем. Он-то не испугается.

— Чтобы я оставила больного? Как ты можешь говорить такое? — обиделась Александра Карповна и последовала за девочкой, мелко семенившей загорелыми ногами по острым, горячим камням.

Ниже Симиной избушки было такое место, где два утеса — один слева, другой справа — забрели по пояс в воду и насыпали перед собой камней. Цепь этих камней тянулась наискось по реке, образуя угол. И в самом углу, почти посредине реки, метрах в пятнадцати друг от друга торчали два острых клыка. Потому и называли порог — Двузубый.

Река бурлила на камнях, швыряла клочья пены, а затем опрометью неслась в узкий коридор, и два каменных зуба словно процеживали ее.

Сима почти не гребла. Она только изредка толчком весла направляла нос лодки на струю. Вот струя повернула и понесла лодку прямо на скалу. Сима ногами нащупала на днище лодки поперечину, уперлась в нее. «Ох, сейчас и помчит, только держись!» — подумала Сима и, чтобы отогнать страх, попыталась припомнить что-нибудь интересное или веселое. Но вместо веселого вдруг припомнилось на мгновение лицо матери.

Когда Симу привезли из поселка, она не сразу узнала

мать. Ласковое и немного печальное при жизни лицо ее сделалось строгим, один глаз был чуть приоткрыт. Кто-то боязливым шепотом тогда сказал:

— Закрыть надо глаза-то, а то она еще кого-нибудь высмотрит и заберет с собой.

Сима тряхнула головой.

Скала приближалась. Александра Петровна заерзала на носовой беседке. Ее и без того большие глаза раскрылись еще шире.

— Симочка, детка, ты почему... ты почему же это самое, не гребешь, а? — с беспокойством спросила она.

Сима не отзывалась. Она, не мигая, смотрела на приближающуюся глыбу.

— Сима, ты разве не слышишь?

— Не мешайте, — сквозь стиснутые зубы прошептала Сима.

— В самом деле, доктор, не гукайте ей под руку, — сказал дядя Костя. Говорил он спокойно, но лицо его было совсем бледным и на руке, уцепившейся за борт, от напряжения вздулись синие вены.

Словно готовясь к прыжку, Сима выгнулась вперед. На ее остреньком носу блестели капельки пота или воды, челюсти резко обозначились оттого, что она крепко стиснула зубы. «Только бы папа не вернулся», — мелькнуло у нее в голове.

С тех пор как отцу внушили, что мать кого-то «высматривала», он стал бояться за девочку. Иногда проснется Сима среди ночи, а отец смотрит на нее с испугом; или вдруг прискачет откуда-то на взмыленной лошади, бегом кинется в избу и, увидев Симу в целости и сохранности, сядет на скамейку и опустит руки.

«В поселок жить переедем, — постоянно твердил он, — на людях там будешь». — И наказывал Симе, чтобы она не уходила далеко в лес, не лезла в реку, не наступила бы на змею. И где бы ни был отец, он обязательно возвращался ночевать домой...

Старый мастер — дядя Костя, захватив рукою низ живота, смотрел теперь на Симу не отрываясь и, заметив, что она начинает горбиться, да еще закрывать глаза, крикнул:

— Серафимушка-а! — И возбужденно, даже весело, как показалось Симе, рассмеялся.

Тень от утеса заколыхалась в воде и закрыла лодку. Сима внезапно выбросила весло и сделала несколько молниеносных ударов.

— Так-так! — одобрительно кивал головой дядя Костя. Лодку качнуло, но утес уже был за кормой. Теперь среди пены и брызг, подпрыгивая на частых волнах, суденышко неслось в пасть Двузубому.

Ловко работая веслом, Сима держала лодку на струе. Струя прихотливо виляла из стороны в сторону, а то вдруг ловким вьюном ныряла вглубь, оставляя глубокие воронки.

Мимо, мимо, мимо!

Кажется, все мускулы, вся сила девочки переместились в твердо сжавшие весло пальцы.

Лодка вырвалась на середину реки. Впереди грозно ревел и пенился порог. И этот рокот и гул начали давить девочку. Сима увидела, как закрыла ладонями глаза Александра Карповна. Она поняла, что порог давит не ее одну. Девочка напряглась до предела, сильнее сжала весло. Она еще успела сделать гребок из-под лодки, когда совсем близко возник темный, скользкий камень. Лодка дрогнула, что-то сухо щелкнуло, как переломанная лучинка, и, пришлепывая носом, лодка помчалась по вихрастым, но уже не страшным волнам.

Сима оглянулась и заметила на остром выступе камня щепку. Она перевела взгляд на лодку: на левом борту ее словно кто-то выгрыз кусок доски. Сима вздохнула и вдруг почувствовала, как сильно устала за эти несколько минут. Она положила весло, перегнулась через борт и зачерпнула рукой холодной воды. Рука дрожала и, пока она несла ее ко рту, в ладони не осталось ни капли.

Все долго молчали. Дядя Костя лежал, прикрыв глаза. Левое веко у него чуть подрагивало.

— Дядя Костя, ты ушибся, да? — виновато спросила Сима.

— Я-то? — встрепенулся дядя Костя. — Нет, Серафимушка, не ушибся, просто нездоровится мне чуток и на воду глядеть надоело. — Пригладив седые, вьющиеся на висках взмокшие волосы, спросил:

— А как ваше самочувствие, доктор?

Александра Карповна кротко улыбнулась в ответ:

— Да я, знаете... все не пришла в себя. — Она на секунду смолкла, бросила взгляд на бушующий сзади порог и добавила: — Надо было взять провожатого еще в поселке. Это вы настояли на своем, упрямец! «Людей по пустякам от работы отрывать!» Вот они, ваши слова. Я не знала, что пустяком вы называли этот ужасный порог, ни за что бы без лоцмана не согласилась.

— А чем Серафимушка не лоцман?

— Ну, дорогой мой, за этого лоцмана, я думаю, нам еще попадет. Мы могли собой рисковать, но ребенком... Как я могла согласиться? — Александра Карповна помочила в воде руку и приложила ее ко лбу.

Дядя Костя перестал растирать живот, с болезненной гримасой приподнялся и перевел дух:

— Не удивляйтесь, доктор, Серафимушка — дочь лесника. Здесь родилась и выросла. Вот поживете в наших местах, пообвыкнете, тогда и вам не в диковинку будут такие штуки. Правда, Серафимушка?

Сима смутилась и принялась рассматривать свои босые ноги. Мастер достал папиросу, закурил, сморщился:

— Вы знаете, доктор, там, на пороге, у меня вроде и резь прекратилась. Я уж думал, не зажило ли? Ан нет, окаянная хворь пуще прежнего начала донимать. И порогов больше не встретится. Вот беда-то!

— Не надо! Ну их! — отмахнулась Александра Карповна и властно прикрикнула: — А вы чего это зубы мне заговариваете и поднялись? Лежать, не двигаться!

— Серафимушка, ты давай, голубушка, поворачивай к берегу, а то тебе далеконько бежать придется, — словно не расслышав приказание доктора, но все же укладываясь, сказал мастер девочке.

Когда лодка ткнулась в берег, дядя Костя подозвал Симу, взял ее руку, погладил и, заглянув в глаза, спросил:

— Серафимушка! Скажи по правде: плавала ты без отца через порог?

— Плавала, но вы папе не сказывайте. Заругает.

Старый мастер вспомнил, что отец Симы уже не раз обращался к нему с просьбой помочь устроиться на работу и жительство в поселке. Но все как-то было недосуг заняться этим делом, да и просьба лесника казалась не совсем серьезной. Думалось: что ему не живется на своем месте? Но сейчас мастер твердо решил: вернется из больницы, обязательно поможет леснику с Симой перебраться в поселок. За девочкой нужен глаз да глаз, заботливые руки, конечно, не мужицкие. Одна через порог плавает! Куда это годится? Поживут первое время у нас, не стеснят, а потом что-нибудь придумаем.

— Надоело тебе, Серафимушка, здесь? — спросил дядя Костя.

— Скорей бы в школу, — вместо ответа выдохнула Сима и присела на нос лодки.

Александра Карповна, приводя свою прическу в порядок, бормотала, казалось, совершенно не вникая в их разговор:

— Какие дети! Вот они, герои, откуда берутся. — Она поглядела на девочку, которая сорвала на берегу перышко дикого лука и жевала его, перекатывая ногой бурый голыш.

— Ладно, доктор, не смущайте девчурку, а перебирайтесь-ка на ее место и поплывем по морям-по волнам! — Дядя Костя устроился поудобней и спросил:

— Что, Серафимушка, тебе в подарок привезти? Говори, пока не отчалили.

— Ничего не надо. Поправляйтесь поскорее! К нам потом заезжайте. Если, может, нитки десятый номер попадутся, тогда купите: починяться нечем. Да еще книжку про Володю Дубинина. Нам в школе читали, но не всю!

— Обязательно заеду. Обязательно. Я докторам не поддамся. Ну, беги, беги. Кабы отец не нагрянул.

Сима уперлась босыми ногами в острый камешник, налегла плечом на нос лодки, и она с хрустом сползла на воду. Лодка, кормой вперед, поплыла вниз по течению.

Александра Карповна взяла весло, но не гребла. Ласково улыбаясь, она глядела на девочку. Сима, сама того не замечая, шла и шла по берегу вслед за лодкой, и докторша вдруг поняла, что Симе не хочется отпускать их и возвращаться в пустую избушку, что в душе этой девочки живет не только отвага, но и глубокая печаль.

— Сима, ты обязательно зайди ко мне, когда приедешь в поселок. Заходи вместе с папой, — неожиданно вырвалось у Александры Карповны. Тут она вспомнила про больного, смутилась и торопливо добавила: — Я тебя вареньем угощу. Какое варенье любишь?

— Чтоб только не кислое. А у вас есть с кем играть? Сын или, может, дочка? — все еще поспевая за лодкой, спросила девочка. Она споткнулась о камень, но не обратила на это никакого внимания, лишь смешно оттопырила ушибленный палец.

— У меня никого нет. Все в Ленинграде, в блокаду... Я на санпоезде ездила, а они там..., — сказала Александра Карповна со вздохом, за которым скрывалась давняя, притупившаяся, но неистребимая боль. — Одна я. — И, через силу улыбаясь, как можно веселей, добавила: — Впрочем, не совсем одна. Есть у меня две Дуськи, забавные кошки. Приезжай, сама увидишь. Приедешь? Хорошо?

— Хорошо, — чуть слышно ответила Сима.

Она остановилась, хотела помахать рукой этой большеглазой, ласковой и какой-то немножко чужой женщине. Но за утесом, как раз над избушкой, снова закружился коршун. Сима быстро сорвалась с места и побежала в гору. Ее темные от загара ноги ворвались в заросли цветов — марьиных кореньев — и следы девочки устлали яркие лепестки.

...Александра Карповна опустила глаза и заметила возле своих ног в кормовом отсеке два желтоглазых рубиновых цветка. Она взяла цветы, осторожно расправила смятые ногами Симы лепестки и, не зная, что дальше делать с цветами, поднесла их к носу. У больших, красивых цветов был родной для врача, лекарственный запах, а от тычинок, напоминающих сердечки, сыпалась желтая пыльца.

Шум порога, отдаляясь, становился тише, тише и уже сливался с шумом леса, спустившегося с гор к самой реке.

ГИРМАНЧА НАХОДИТ ДРУЗЕЙ

Пароход гудел часто и жалобно. Он звал на помощь. Был он маленький, буксирный; волны накрывали его почти до самой трубы, и казалось: вот-вот он захлебнется, перестанет кричать. Однако прошел час, другой, а из трубы парохода все еще валил черный дым, ветер растеребливал его на клочки.

Но вот на пароходе что-то случилось: гудок оборвался. Огромная волна, словно торжествуя, вздыбилась возле судна, ударила в нос, перекатилась по палубе... Только капитанский мостик, часть трубы да мачта виднелись над водой.

— Ой-ей! — вскрикнула мать и заметалась по берегу.

— Пропал пароход... — вздохнул отец Гирманчи и поднялся с чурбака, на котором сидел до этого, глядя на разбушевавшуюся реку. — Бери весла, Чегрина, поплывем, — сказал он.

— Как поплывем? Большие волны, ветер дурной. Пропадем! — испуганно ответила мать.

— Бери весла, Чегрина!

Чегрина сходила к чуму, взяла весла и понесла их к лодке, которая предусмотрительно была вытащена на берег, подальше от воды.

Мать прыгнула в лодку, села за весла. Отец и Гирманча, уцепившись за корму, ждали большую волну. А она шла неторопливо, вздымаясь, накатываясь на берег. Все ближе и ближе грозный рокот, ярче и кипучей белый, взъерошенный гребень. Летят брызги, пена.



Вот волна хлынула на берег, лизнула нос лодки, легко подняла ее, и тогда отец крикнул, занося ногу за борт:

— Греби!

Чегрина ударила веслами. Лодка рванулась вперед, а Гирманча побрел следом за ней по воде.

— Куда ты, вернись! — закричала мать.

Но Гирманча не отставал, пытаясь ухватиться за борт и перевалиться в лодку.

— Вернись, Гирманча! — сказал отец и кивнул головой в сторону буксира: — Людей на пароходе много, места в лодке мало. Вернись!

Руки Гирманчи отцепились от борта. Подкатившаяся волна сбила его с ног и поволокла по песку. Когда Гирманча поднялся и посмотрел на реку, лодка была уже далеко от берега, за мутно-желтоватой полосой поднятого со дна песка и ила. Она быстро приближалась к судну.

Оттого, что пароход уже не кричал и не дымил, Гирманче казалось, что там нет никого живого. Вдруг у носа буксира взметнулся сноп воды, и до слуха Гирманчи донесся рокот: это отдали якоря, чтобы судно не выбросило на берег. Теперь пароход стало болтать еще сильнее, и волны то и дело накрывали его. А лодка все вскидывалась и вскидывалась на волнах. Она была уже совсем близко от парохода, как вдруг что-то случилось.

Отец неожиданно встал с места и протянул руку. Мать быстро подала ему весло. Гирманча догадался: у отца переломилось кормовое весло. Мальчик затаил дыхание: он-то отлично знал, какая грозит беда. Всего несколько секунд потерял отец, чтобы взять весло, и уже не может направить лодку навстречу волнам.

И вдруг все исчезло, словно провалилось в кипящую воду. Через минуту лодка всплыла на поверхность, но уже кверху килем. На палубе буксира заметались люди. Оттуда полетели в воду спасательные круги, какие-то продолговатые предметы. Но ни отца, ни матери не было видно.

Так осиротел Гирманча.

Пароходик все-таки продержался. К вечеру с верховьев реки пришел большой пароход с желтой трубой и угрюмым гудком. С силой расталкивая носом волны, он подошел к маленькому буксиру, коротко пробасил, подцепил полузатопленное суденышко и потащил его, как утенка, укрывая от волн своим высоким бортом.

Когда оба судна исчезли на горизонте, Гирманче стало совсем тоскливо. Правда он все чаще надеялся, что мать и отец вот-вот вынырнут из воды и тогда он, Гирманча, поплывет за ними на запасной лодке.

Солнце пришло туда, где было утром, и несколько минут, словно в нерешительности, висело над темными зубцами леса. Видимо решив, что здесь, в суровом Заполярье, люди не осудят его за излишнее усердие, солнце опять покатилось от того берега к этому.

Начался новый день. Волнение на реке стихало, птицы плескались в воде, кричали в кустах, кружили в воздухе. Старый пес Турча раскапывал лапами мышиную нору за чумом. На далеком горизонте показались паруса рыбаков. Люди, переждав бурю, поплыли проверять ловушки.

Все живое было занято своим делом, и только Гирманча не знал, что ему делать: реветь или варить еду. А может

быть, надо идти к чуму рыбака-соседа за тридцать километров и рассказать о случившемся?

Много, очень много передумал Гирманча, но с берега не уходил. Он боялся хоть на минуту отвести взгляд от реки. Вдруг выплывут мать и отец?! Гирманче даже почудилось однажды, что он слышит голос матери.

Очнувшись от дремоты, он увидел на реке тот самый маленький буксир, который вчера так жалобно гудел, взывая о помощи. Гирманча обрадовался, точно друга увидел.

Поравнявшись с чумом, пароходик громко прокричал, лихо развернулся, так что поднятая им волна чуть не докатилась до Гирманчи, и отдал якорь. От буксира отошла шлюпка с людьми и поплыла к берегу.

«Рыбу есть хотят», — решил Гирманча. Он помнил, как с проходящих пароходов к их чуму приставали на лодках люди, чтобы купить у отца свежей рыбы.

Гирманча знал мало русских слов. И потому, когда человек с большими усами, цветом похожими на мох лишайник, и в кителе с блестящими пуговицами вылез из шлюпки, подошел к нему и сказал: «Несчастье, брат, да... Грех-то какой случился...», — Гирманча, не поняв, ответил по-эвенски, что рыбы нет. Отец не смотрел сети. Ветер был. Если пароход подождет, Гирманча сам посмотрит сети и даст рыбы пароходным людям.

— Э-э, брат! — удивленно воскликнул усатый. — Да ты, я гляжу, и по-русски не понимаешь, совсем плохо. Что с тобой, друг, делать?

Гирманча знал слово «друг» и, услышав его, обрадовался.

— Друг! Друг... — радостно забормотал он.

Усатый прижал его к себе и, откашлявшись, заговорил:

— Эх ты, сирота! Я друг, они тоже други, — показал он на стоявших рядом матросов. — Ты, друг, не горюй. Что сделаешь — стихия!.. Мы не покинем тебя, так что будь спокоен. Да. Твои тятька с мамкой нас спасать бросились, да сами потопли. Ну, ничего, друг. Поедешь ты с нами в город, в детдом тебя сдадим. Знаешь, что такое город?

Гирманча города никогда не видел, но был однажды с отцом на пассажирском пароходе и смотрел там кинокартину, в которой показывали большие дома и много людей.

— Корот, кино, друг, — сказал он и с удовольствием повторил: — Корот, кино, друг...

— Во-во, кино! Это, брат, в городе каждый день хоть три сеанса подряд смотри. Ты парень смышленый, не пропадешь.

Сразу понял, что к чему. Давай, дитенок, собирай свои пожитки, и ту-ту-у-у-у, поедем!

— Ту-ту-у-у-у! — радостно повторил Гирманча и, показав пальцем на кокарду, украшавшую фуражку седоусого добряка, спросил: — Капитан?

— Капитан, капитан, — оживился тот. — Вот ведь глазастый какой, узрел, догадался. Тебя-то как кличут, а? Тебя, тебя, — капитан постучал пальцем по груди мальчика, — как зовут?

— Я Гирманча, друг, ты — капитан, друг, парокот—друг, ту-ту-ту. Корот — друг.

— Ах ты парень, парень! — растроганно заговорил капитан. — Сиротой остался, а горя еще не сознаешь, рад, что в город поедешь. Мал еще. Но ничего, Гирманча, — добавил он, — не дадим тебя в обиду, не дадим!..

Город ошеломил Гирманчу. На рейде у пристаней гудели, свистели и отпыхивались пароходы и пароходики. Низко, так что отчетливо видны были на крыльях звезды, проносились с оглушающим ревом гидросамолеты. По улицам города одна за другой гнались автомашины и тоже гудели; мчались долговязые лесовозы; спешили куда-то люди, одетые в разные одежды.

Гирманча крепко держался за руку капитана и все жался к нему, а тот ободрял мальчика:

— Не робей, Гирманча! Это сначала в диковину, а потом привыкнешь. К городу легко привыкнуть, вот к чужим людям — это потруднее. Как твои дела по этой части пойдут, не знаю. Да-а... Ребятишки — народ задиристый, могут, конечно, и пообидеть. Главное — не поддаваться и, ежели что, сдачи давать. Это верно. Понял?

Гирманча многое из того, что говорил капитан, не понимал, но кивал головой своему новому другу. Видимо, мальчик думал, что седоусый добряк худого не скажет, и потому во всем соглашался с ним.

Они пришли к большому деревянному дому, возле которого прямыми аллейками тянулись маленькие деревца. В доме слышался визг девчонок. Возле одного окна стоял мальчишка в красной майке и барабанил по стеклу.

Только речник с Гирманчой переступили порог, как навстречу им примчался здоровенный парень на трехколесном велосипеде. Он крикнул: «Привет!» — и повернул обратно. Велосипед скрипел и визжал от надсады, а за ним следом

гонялся малыш и хныкал. Откуда-то доносился смех, тренькала балалайка, хрипловато тараторил продырявленный меткими стрелками репродуктор, что висел на стене возле дверей. Капитан постоял, привыкая к этому содому, а Гирманча совсем оробел.

Покачал старый речник головой и, сжав покрепче руку Гирманчи, пошел с ним вперед. На одной двери была приклеена бумажка с какой-то надписью. Капитан постучал в дверь согнутым пальцем, и они вошли.

За столом сидел пожилой мужчина в очках и торопливо водил ручкой по бумаге. Видимо, потому, что глаза его были прикрыты очками, он показался Гирманче строгим и сердитым. Капитан пожал мужчине руку, что-то сказал. Тот снял очки и, держа их в руке, посмотрел на Гирманчу усталыми глазами.

Потом капитан рассказывал, а человек в очках слушал, время от времени поглядывая на Гирманчу. Наконец капитан поднялся, положил руку на плечо маленького эвенка и сказал: — Ну вот, Гирманча, здесь будет твой дом. Слушайся, не дерись с ребятами-то. Вот так-то, друг. Да... — Капитан, как большому, пожал Гирманче руку, а другой рукой потрепал по щеке. — Ну вот, значит, определил я тебя. Живи, нас не забывай, заходи, когда пароход увидишь. А зимовать будем в затоне, вместе пойдем петли на куропаток ставить.

Гирманча потряхивал головой и улыбался сквозь слезы. Он понимал, что старый капитан сейчас уйдет, а Гирманча останется среди ребят, которые с непонятными криками носились по коридору и время от времени заглядывали в приоткрытую дверь кабинета. Ах, если бы ему, Гирманче, снова попасть в свой чум, где остался старый Турча! Сейчас осень, корма для Турчи много. А чем будет питаться пес зимой? Жалко собаку, пропадет. Как это слово звучит, которое говорил капитан? «Си-ро-та», — вспомнил Гирманча и потряс седоусого речника за рукав.

— Турча — си-ро-та, сдохнет Турча.

Капитан успокоил его, сказал, что завтра он зайдет проведать Гирманчу, а потом поплывет в низовья реки и обязательно возьмет к себе Турчу, кормить его станет. Гирманча может прибежать на пароход и повидаться с Турчей. Мальчик обрадовался тому, что капитан придет завтра и что Турча не будет сиротой. Он уже без слез проводил капитана и спокойно остался вдвоем с заведующим детдомом.

— Ну, давай знакомиться, — обратился тот к Гирманче.— Меня зовут Ефим Иванович.

— Фим Паныч, — повторил Гирманча, и заведующий с улыбкой подтвердил:

— Приблизительно так. Для начала ладно. А сейчас, Гирманча, пойдем со мной. Будем тебя мыть, кормить, переобмундировывать, знакомить с ребятами.

В коридоре Ефим Иванович велел Гирманче подождать его, а сам пошел в одну из комнат.

К Гирманче стали подходить ребята. Они с любопытством рассматривали его парку, расшитую бисером. Некоторые заговаривали с ним, но Гирманча мало что понимал и настороженно следил за окружившими его детьми, готовый, если потребуется, постоять за себя.

— Ребята, глянь! — заговорил один из мальчишек, у которого волосы были почти как у песца, белые. — Новенький какой черномазый, будто его в трубу протащили! И не говорит ничего — немой, поди. Эй ты, кала-бала! — подразнил белобрысый.

Ребята захохотали. Гирманче это показалось обидным. Он сжал кулаки и посмотрел исподлобья на белобрысого.

— Ох ты, кляча, еще и с кулаками! — удивился мальчишка и взял Гирманчу за грудь так, что от его одежды крупой посыпался бисер. — Может, подраться хочешь?

Глаза у белобрысого были прищурены, губы вызывающе сжаты. Гирманча сердито отшиб его руку от своей груди и обиженно заговорил на родном языке:

— Зачем трогаешь? Я — гость! Гостя надо чаем поить, рыбой кормить! Почему не уважаешь обычай?

Гирманча говорил быстро, размахивая руками, и ребятам показалось, что он ругается. Они прижали его к стене, и белобрысый снова — правда, уже осторожно, начал наседать на него.

Лицо задиры не предвещало ничего доброго. Гирманча втянул голову в плечи. Когда белобрысый снова взял его за грудь, он тоже схватился за мальчишкину куртку.

— Дай ему, Кочан, дай! — подзадоривали своего дружка детдомовцы. Кочаном они, видимо, его прозвали за белую вихрастую голову.

— Через себя фугани, чтобы он ногами сбрякал! — посоветовал кто-то из мальчишек.

Кочан попятился, сделал вид, будто падает, и, когда Гирманча навалился на него, быстро и ловко упал на спину.

В воздухе мелькнули расшитые бисером бакари, и Гирманча, перелетев через Кочана, плюхнулся на пол.

Белобрысый навалился на него, не давая пошевелиться.

Если бы Гирманча понимал, что кричали перед этим ребята, он бы поостерегся и не дал так ловко себя обмануть.

Лицо его побледнело от обиды и ярости. Он неожиданно издал гортанный крик, рванулся и через секунду был на ногах. Прямо перед собой он увидел удивленное и растерянное лицо Кочана и, уже ничего не соображая, вцепился в это лицо, как когтистый зверь, повалил противника на пол.

Эвенки — народ смирный, гостеприимный, вывести из себя их трудно. Ловкие в охоте, драться с людьми они не умеют. Но страшны они в своем редком гневе. Кочан не сразу, но понял это, а поняв, испуганно забормотал:

— Ну, в расчете, в расчете! — и вдруг завопил: — Лежачего не бьют!

— Что здесь происходит? — послышался голос заведующего детдомом. Он растащил дерущихся и гневно обернулся к «зрителям»: — Похохатываете! Весело вам!

Ребята сконфуженно опустили глаза, замялись.

Оглядев с ног до головы поцарапанного, перетрусившего Кочана, Ефим Иванович с укоризной и досадой сказал:

— Всегда ты с новенькими в драку лезешь, да еще с теми, кто слабее тебя. Это ведь подло!

— Он сам полез, — пробубнил Кочан, глядя исподлобья.

— Врешь! Ты первый заедался, — послышалось отовсюду.

— Помолчите! — прикрикнул на ребят Ефим Иванович. — Глазели, науськивали, а теперь виноватого ищете? Все виноваты, все безобразники! Умойся и отправляйся в классную комнату, под замок! — приказал Кочану заведующий. — А вы тоже шагом марш по своим местам! Собирались сегодня на экскурсию к морпричалам — теперь будете сидеть дома.

Ребята с унылыми лицами разошлись по комнатам.

— Ну, а ты, Аника-воин, тоже хорош! — заговорил Ефим Иванович, глядя на Гирманчу, взъерошенного, растрепанного и все еще трясущегося от злости. — Только что появился в детдоме — и сразу в драку! Кто бы мог подумать — сын мирного рыбака, малый, щуплый...

Заведующий, не переставая ворчать, отвел Гирманчу в комнату, где женщина в белом халате принялась стричь его, пощелкивая блестящей машинкой. Черные жесткие волосы Гирманчи клочьями повалились на пол. После стрижки ве-

лели снять одежду. Он заупрямился и, когда женщина попыталась сделать это сама, заревел. Но его все-таки раздели, посадили в посудину с водой. Название посудины очень походило на отчество заведующего детдомом: ванна.

Был уже вечер, когда Гирманча пришел в ту комнату, где недавно их вместе с капитаном принимал Ефим Иванович. Стриженая голова Гирманчи казалась синеватой, а на непривычно чистом лице стали особенно заметны яркие, черные, глаза, немного осовевшие от еды и тепла. В кабинете директора на диване было раскинуто одеяло, из-под которого белели края простыни.

Ефим Иванович поднял на лоб очки, посмотрел на Гирманчу и мягко улыбнулся:

— Как новый гривенник ты сейчас, Аника-воин.

Гирманча уставился глазами в рот Ефима Ивановича, стараясь вникнуть в смысл его слов. Понял он лишь одно, что тот уже не сердится на него. Гирманча тоже улыбнулся благодарно, застенчиво. Заведующий, пользуясь больше знаками, чем словами, велел Гирманче раздеваться и ложиться спать.

Гирманча с сожалением снял новую одежду, лег на диван и тут же отпрянул в испуге: под ним что-то зазвенело, заскрипело, задзинькало. Пришлось Ефиму Ивановичу поднять диванную подушку и показать маленькому эвенку пружины, перепутанные веревками. Гирманча рассмеялся, покачал головой. «Чудные люди: нет чтобы сесть прямо на землю или на чурбак, — тратят веревки и проволочки, из которых можно сделать много хороших поводков и крючков к переметам».

На следующий день в детдом ненадолго заглянул старый речник. Суденышко, которым он командовал, уже было назначено в рейс — вести баржу с продуктами в один из северных станков (так северяне называют свои деревушки). Капитан торопился. Он, как мог, объяснил это Гирманче и обещал скоро вернуться. Но Гирманча уцепился за рукав своего доброго друга и не отпускал его. В глазах маленького эвенка стояли слезы.

— Обидели тебя сорванцы-то? — спросил капитан у Гирманчи.

Поняв по лицу речника, что тот ему сочувствует, мальчик жалостно затряс головой.

— Его не вдруг обидишь! — послышался от дверей кабинета голос Ефима Ивановича.

Он крепко пожал руку капитану и рассказал о вчерашнем

сражении новичка с Кочаном. Старый речник пришел в неистовый восторг. Он хохотал от души, хлопал Гирманчу по спине и громко одобрял его действия:

— Молодец, Гирманча! Так и дальше держи!

Гирманча сначала с недоумением поглядывал на капитана и на заведующего детдомом, а потом тоже развеселился и, стукая своего друга по колену, стал выкрикивать что-то.

Нахохотавшись, старый речник вдруг задумался, потом поднялся и обратился к заведующему:

— Разреши, Ефим Иванович, поговорить с твоей салажней.

Получив одобрительный ответ, он взял Гирманчу за руку и повел в комнату, где предстояло жить маленькому эвенку.

Их встретили с нескрываемым любопытством. Многие ребятишки завороженными глазами глядели на форменную фуражку капитана с золотой «капустой» и якорем в середине.

— Вот что, орлы: обновили Гирманчу — и довольно. Он тоже доказал, что сумеет жить в коллективе, и потому должен спать здесь, а не в кабинете. Пока кровати ему не поставили, поспит с кем-нибудь. — Капитан помолчал и с чувством добавил: — Должны, я думаю, понимать: ему труднее обживаться, чем вам.

Ребята молча переглянулись, и один из них спросил:

— А как новенького зовут?

— Ну и комики! — удивился капитан. — Подраться успели, а вот имя у человека спросить не догадались. Зовут его Гирманча.

— А если мы его Геркой звать будем, можно?

— Это уж вы у него спрашивайте, — заявил капитан и, надев фуражку, стал прощаться со всеми за руку, как с настоящими мужчинами. Последнему он пожал руку Гирманче и, подмигнув ему, сказал так, чтобы все слышали: — Будь здоров, парень, не обижай здешний народ!

Проводив капитана, ребятишки некоторое время молчали, внимательно разглядывая маленького эвенка. Может быть, им вспомнилось, как они сами пришли сюда, тоже грязные, голодные, и ужасно боялись детдомовских корешков, а может, дружба настоящего капитана с Гирманчей или то, что Гирманча не струсил перед задирой Кочаном, вызывали в них чувство уважения к нему. Наконец один из детдомовцев, высокий голубоглазый паренек со значком на куртке, протолкался вперед и с видом знатока всевозможных языков сказал единственное эвенское слово, которое ему было известно.

— Бойе, не бойся. Мы тоже — бойе, — сказал и с улыбкой протянул руку.

Гирманча обрадовался, услышав родное слово, означавшее по-русски — друг, но руку из предосторожности все же не подал.

Тогда паренек схватил его за руку, подтащил к своей кровати и сказал, приложив ладонь к щеке:

— Ты — бойе, я — бойе, хр-р-р-р. Спать. Вместе спать будем. Рядом. Вот на этой кровати. Понятно?

— Хр-ррр, понятно, — робко повторил Гирманча.

Все ребята заулыбались.

— Ишь какой, сразу понял, о чем разговор, — примирительно ввернул словцо Кочан.

— Если к человеку по-доброму, так он хоть что поймет, — послышались голоса. — Это ты все с наскоку делаешь.

А паренек, предложивший Гирманче вместе спать, все больше и больше нравился маленькому эвенку.

— Гера, это все наши ребята, школьники, — стал показывать он. — Ты тоже будешь ходить в школу. Школа. Понимаешь?

В кармане у Гирманчи лежали искусно вырезанные из дерева собака и трубка. Их вырезал отец в длинные зимние ночи под завывание северной пурги и под собственную песню, длинную, как зима. Гирманче очень захотелось отдать эти самые дорогие для него вещи голубоглазому пареньку. Он вдруг решительно выхватил из кармана трубку и собаку.

— Тебе это, — пробормотал он, сунув подарки новому знакомому. — Турча и трубка, отец делал, долго делал!

Ребята загалдели, окружили паренька с подарками.

— Здорово! — сказал один из мальчишек. — Хвост у собаки, как у заправдашней, кренделем!

Детдомовцы начали расспрашивать у Гирманчи, кто и чем вырезал эти штуковины. И маленький эвенк, пользуясь звуками, жестами, известными ему немногими русскими словами, начал трудный рассказ о своей небольшой жизни. Из этого рассказа детдомовцы узнали, что у Гирманчи были родители рыбаки, хорошие рыбаки, что жил с ними Гирманча долго-долго. Отец научил Гирманчу вырезать из дерева рыбку и плавать в лодке-веточке, а мать сшила ему бакари, которые Фим Паныч убрал в кладовку...

Не так уж много узнали ребята из рассказа Гирманчи, но все-таки поняли, что парень он ничего — в друзья годится.

УТРОМ

Что и говорить, любил Иван Никитич делать внушения. А с тех пор как стал он мастером в ремесленном училище, это у него в привычку вошло. Да и обойтись без этого трудно: в ремесленном группа из тридцати человек, дома — сам-шестой. Народ дома и в группе проворный, на выдумки и



проказы гораздый, и если этому народу постоянно не толковать, что так нехорошо, а этак некрасиво, то и ждать от него добра — дело безнадежное. По крайней мере, сам Иван Никитич был в этом уверен. Но однажды утром... Впрочем, не будем забегать вперед.

Был Иван Никитич заядлый охотник. Немало притеснений претерпел из-за этой охоты он от жены. Но человек он упрямый и переборол даже супругу. После тридцати лет сов-

местной жизни она и бутербродишко какой-нибудь в мешок сунет добровольно, правда, не без выговоров насчет дурной головы, которая ногам покоя не дает.

К слову сказать, Иван Никитич был в жизни человеком горячим и не переваривал тихой охоты с чучелами, с разными там подсадными утками. Нет, он любил по горам ползать и за воскресенье так ухаживался, что иногда у железнодорожного моста, от которого оставалось два километра до дому, начинал мечтать о попутной машине, как о величайшем счастье.

То было в прежние годы, а теперь Ивана Никитича чаще потягивает присесть, и горы ему уже кажутся высоковатыми, и километры длинноватыми. Характер у него стал ровнее, и пристрастие к обстоятельным внушениям с годами усилилось. «Да-а, старость, старость, так это она пешком, тишком и опутает незаметно человека по всем суставам, волос на голове поубавит. Ни красоты, ни удальства! Почету, правда, больше, да что из него, из почета-то, шубу шить?»

Так рассуждает Иван Никитич. Однако молодиться он не любит. Отпустил усы, носит просторный пиджак. Пришло время — согласился он пойти и на «сидячую» охоту, за тетеревами.

Пригласил его с собой завхоз училища Терешкин. Расширив, то ли от изумления, то ли от восторга, маленькие желтоватые глазки, он, захлебываясь, говорил:

— Иван Никитич! Если бы ты видел! Тучи! Темные тучи! Я сижу, не дышу... в балаганчике сухо, красота, а они над головой шш-жж-шш-жж, как ероплаты! И в кошенину, и на снопы, и на березы! По ком стрелять, куда стрелять, растерялся я! Ей-бо!

— Ладно, доживем до воскресенья, увидим!

— Иван Никитич, ей-бо!

— Ну-ну, не божись за каждым словом. Нехорошо это, ученики могут услышать. Ты все-таки фигура немаловажная, завхоз — это значит заведующий хозяйством. Можно сказать, после директора наипервейшая личность, на высоте надо держаться...

И вот они шагают по железнодорожной колее. Впереди чуть заметно серебрятся рельсы. Больше ничего не видно. Темень. С вечера прошел дождь. Воздух сырой, прохладный. От леса тянет прелой листвой, сеном. Терешкин часто перебирает ногами, а Иван Никитич пытается шагать через две шпалы, часто оступается и ворчит:

— Ходить по этим шпалам — расстройство одно.
— А ты по одной шпале-то, по одной, ей-бо!
— Не выходит у меня по одной-то. Ноги сохатые родителями дадены, только прыть уже не сохатиная.

Наконец они сворачивают с линии на лесную тропинку. Иван Никитич облегченно переводит дух, но преждевременно. Идти по лесу в такой темноте да еще после дождика, оказывается, куда хуже, чем по линии. Корни, валежины, пни, прутья цепляются за ноги. Иван Никитич придерживает правой рукой двустволку, а левой опасливо прижимает к себе узелок. В узелке завернуты три пирога, яички и еще какая-то снедь для внучка Генки.

Нынешней весной старший сын Ивана Никитича уехал работать в колхоз, а с ним и Генка, любимый внук. Вот и сунули охотнику узелок: «не задавит, мол, попутно завернешь в деревню».

— «Не задавит, не задавит», — бубнит Иван Никитич. — Шмякнешься со всей этой продукцией. Причуды бабьи.
— Что ты сказал?
— Ночь, говорю, эта провалилась бы в тар-тарары...
— А-а, оно действительно.

Но вот на одной половине неба начинают резче вырисовываться облака, появляется полоска над кромкой леса.

В лесу тихо: ни шороха, ни звука. Только шлепают сапоги двух человек, шуршит мокрая трава да потрескивают сучки. Вот уже и тропинка немножко видна. Из сумерек начали выступать отдельные полуобнаженные деревца. Еще не видно, какие у них листья — красные, ржавые или желтые. Но уже по тому, как трепещут в ознобе листья и падают на землю, можно узнать, что это косматое деревце, наклонившееся над тропинкой, не что иное, как осина, а дальше начинают белеть березки. Не отличишь пока елку от пихты — обе темные, на обеих густо серебрятся капли дождя.

Вдруг лес разом обрывается, тропинка исчезает, кругом становится светлее — впереди большое, теряющееся в утренней мгле, поле. На нем маячит скирда.

— Вот мы и добрались, — шепчет Терешкин. — Давай скорее усаживаться, припоздали немножко, скоро прилетят, ей-бо! — Голос у Терешкина дрожит, прерывается; охотник сглатывает слюну и с нетерпением подгоняет: — Пошли, пошли! Во! — показывает он на что-то темное рядом с опушкой леса. — Балаганчик, я те дам!.. Давай устраивайся, а я чу-

чела выкину и дальше двину: там тоже балаган снопами закрыт, как дома в нем! Ну, я побег! Ни пуха тебе ни пера и тому подобное.

Терешкин исчез. Его волнение передалось Ивану Никитичу. Он торопливо, но осторожно забрался в шалаш-скрад и сразу подумал: «Заговорил мне зубы-то, а сам, небось, в такое место пошел, где косачей полно. Буду вот сидеть тут, ровно филин, вертеть головой и слушать, как он там постреливает. Хитер этот «ей-бо», хоть с виду и простоват».

Иван Никитич ощупью прицепляет на какой-то сучок узелок с посылкой, устраивается кое-как. Чтобы унять ненужное возбуждение, закуривает. Сидит он, потягивает по-солдатски из кулака и слушает. Потной спине становится холодно, хрустят суставы ног — ревматизм корежит. День обещает быть пасмурным. Рассвет наступает медленно, словно нехотя. Но все-таки день приближается, уже отчетливо видна впереди скирда, приткнувшаяся к одинокой липе, должно быть сухой, потому что на дереве совсем нет листьев.

Иван Никитич замечает, что верх у скирды какой-то слишком уж тупой. Он напряженно вглядывается и удивленно бормочет:

— Раскрыт верх-то. Как же это? Осень ведь. — Он с беспокойством оглядывается, поднимает голову и видит: скрад закрыт снопами. — Вот оно что, — догадался Иван Никитич. — Охотнички, значит, орудовали! Колхозники-то куда же смотрят? Взгрели бы их как следует. Ах, сукины сыны, надо ж додуматься!

Ивану Никитичу и раньше приходилось встречать охотничьи пакости: исхоженные вдоль и поперек овсяные поля, разваленные бабки, обдерганные зароды сена, разоренные скирды. И всегда становилось как-то стыдно за своего брата охотника.

Вот и сейчас ему сделалось не по себе. Он заерзал на коленях, поворчал еще немного, потом успокоился и благодушно отметил:

— А балаганчик-то хорош, ничего не скажешь! — и махнул рукой: — Что может значить какой-то десяток снопов?

Договорить ему не удалось: над головой прошелестели крылья. Он вздрогнул и увидел — впереди снижаются два черныша. Сели они далеко за скирдой. Ивана Никитича стал колотить озноб. Он взвел курки и снова затаил дыхание. На сухую липу, к чучелам, упало несколько тетеревов и замер-

ло. «Пятьдесят или семьдесят метров будет», — прикинул Иван Никитич расстояние, осторожно просунул ружье и прошептал:

— Ничего, возьмет!

Еще было сумеречно, и птицы на дереве вырисовывались неясными контурами. Иван Никитич подвел мушку под нижний комочек. Сверкнул огонь — и покатился первый выстрел, взбудоражив утреннюю тишину. Еще не успело укатиться эхо за выступившую из темноты деревеньку на берегу реки, как ухнул выстрел в другом конце поля. «Ей-бо» трахнул из своего двенадцатого калибра!» — отметил Иван Никитич и снова замер. Под липой, в стерне, что-то чернело, не разобрать — тетерев или клок сена.

Минут двадцать тетерева не появлялись. За это время на другом конце поля раздались еще два выстрела.

— Так я и знал! — злился Иван Никитич. — Надул меня проклятый Терешкин! Ох и человек! Погоди, змей, я тебе...— Но что он собирался сделать с Терешкиным, Иван Никитич так и не успел придумать.

Из-за леса появилась большая стая косачей.

Иван Никитич привстал на колено, приложился: Бух! Бух! Одна из птиц, даже не качнувшись, полетела вниз. За ней полоской крутились в воздухе перья.

— Вот это да! Срезал! — услышал Иван Никитич позади себя восхищенный голос.

— Кого тут леший таскает? — угрожающе зашипел он, но никто не отозвался. Иван Никитич настороженно прислушался и, подумав, что ему что-то почудилось, снова принялся юрко шарить глазами по березнику, по скирде, по небу.

Утро загнало темноту в лес, в лощины, в горные распадки. Виднее сделалась разваленная наверху скирда, ближе подступил березняк, даже солнце попробовало выглянуть, но, чем-то раздосадованное, снова зарылось в облака. В кустах подняли содом сбившиеся в стаю дрозды. Где-то у реки накаркивала непогоду ворона. Но вдруг все эти привычные звуки перекрыл задорный голос пионерского горна. «Вот ведь как, холера, наяривает!» — восхитился Иван Никитич горнистом и посмотрел в сторону деревни.

— Может, Генка наш?

Захотелось курить. Иван Никитич достал портсигар и только собрался спичку зажечь, как увидел такую картину, что у него и папироска вывалилась изо рта.

По полю, конвоируемый ребятами, шагал Терешкин. Он что-то доказывал, махал руками, и при этом на поясе у него, как живые, пошевеливались черные косачи.

Не зная еще, в чем дело, но смутно догадываясь, Иван Никитич с ужасом обнаружил, что конвоиры и задержанный приближаются к нему. Стали слышны голоса.

— Да, ребята, да я, ей-бо, не я, пришел я, а тут уже все сделано, стало быть, наготове...

— Отпирайся, отпирайся, думаешь, мы не видели! Вот еще один балаган. Ну, как тут дела, ребята!? — спросил мальчишеский, очень знакомый голос.

— Все в порядке, товарищ командир! Ведем наблюдение, глаз не спускаем, аж продрогли, — дружно ответили ребятишки, по-видимому сторожившие скрад Ивана Никитича.

— Молодцы! Сейчас мы посмотрим, что тут за субчик, — проговорил не кто иной, как Генка, которого ребята почтительно называли командиром. Иван Никитич узнал его все-таки по голосу.

Иван Никитич нехотя вылез из шалаша и, стараясь упрятать смущение, сердито спросил:

— Это кто, я те субчик, да?

Глаза у Генки сделались большими.

— Дедка!

— То-то и оно, что дедка! Я те покажу субчика! Такого субчика дам, что не возрадуешься!

Иван Никитич, старый солдат, знал, что лучшая оборона — это наступление, и, надо сказать, наступление подействовало на ребят ошеломляюще.

Они на какое-то время оробели, получилось замешательство. Но продолжалось оно недолго. Первым опомнился, как и полагалось командиру, Генка. Словно и не существовало больше ни дедушки, ни Терешкина.

— Давай, ребята, снопы на скирду! — скомандовал Генка. — Ничего, закроем как-нибудь, а потом в сельсовет пожалуемся. Я знаю фамилии обоих.

Ребята поволокли снопы, отяжелевшие от сырости. А Терешкин и Иван Никитич стояли на месте и моргали глазами.

— Эх ты, дедка! — переждав, пока у шалаша не осталось ребят, заговорил Генка, взваливая на плечо сноп. — Когда я окно в школе разбил, ты что говорил? «Труд надо уважать, помогать людям, не вредить!» А сам! Эх ты! — Он бегом по-

нес сноп и, вернувшись, продолжал: — Мы колоски собираем всей школой, а вы наш труд на забаву! А еще учишь всегда. Я про тебя всем ребятам хорошее говорил, а ты... Эх ты...

— Ладно, не канючь, а то я слушаю, слушаю да и оттаскаю за вихры.

— Ну и таскай! Подумаешь! Таскай! Все равно скажу, что думаю, — кипятился Генка со слезами на глазах. — Как мне теперь, по-твоему, стыдно в деревню идти или нет? Собственного дедушку изловил! Эх ты!

— Довольно, довольно, — неловко переминаясь с ноги на ногу и пряча глаза, оборвал внука Иван Никитич. — Грамотен больно. Я вот еще велю всыпать тебе, боевому командиру, за то, что ты из дому до зорьки удрал и ребят увел...

— Иди, иди, скажи, папке скажи. Это он научил нас создать пионерские посты. Эх вы, колхозное добро на забаву... Надо труд людей уважать.

Дальше слушать было невыносимо. Генка прилипчив, как репей. Перенял многое от дедушки. Иван Никитич пошел на хитрость:

— Чего стоишь, Терешкин? Помогать надо пацанам. Видишь, мошенники какие-то нарушили скирду, а мы в ответе.

— Рассказывай, рассказывай, — недоверчиво покачал головой Генка.

Иван Никитич, будто не расслышав этих слов, принялся бойко подавать снопы на скирду. Терешкин, испуганно моргая глазами, молча таскал снопы с дальнего конца поля. Вот он, панически дыша в ухо Ивана Никитича, зашептал:

— Повлияй, посадют! Ей-бо, посадют!

Иван Никитич зло посмотрел на него, и Терешкин засеменил прочь.

Через полчаса все было закончено. Иван Никитич по-хозяйски поправил последние снопы на верху скирды. Овес мокрый. Его уже прихватило плесенью. Сгорит овес в скирде. Иван Никитич, бывший крестьянин, хорошо понимал это. Он помялся, покашлял и спросил у Генки:

— Молотить-то скоро будут, не знаешь?

Тот не понял, зачем об этом спрашивает дедушка, но ответил:

— Скоро. Они уже вон на том поле. Мы там граблями солому от молотилки отгребаем.

Наступило долгое и неловкое молчание. Ребята собрались уходить. Генка исподлобья поглядывал на деда, который хо-

тел о чем-то заговорить и не решался. Наконец Иван Никитич спохватился, начал суетиться, отыскал узелок.

— На-ко вот, бабушка продукт послала какой-то. Причуды бабьи! Живете-то как?

— Хорошо.

— В пионеры вступил, значит?

— Вступил.

— Ну, оно понятно. Раз возраст дошел, само собой, в пионеры надо.

Помолчали. Вдалеке опять зазвучал горн.

— Так мы пошли, нам надо в школу.

— Что ж, ступайте, правильно хозяйничаете, со строгостью!

— Не по-вашему, — задиристо ответил Генка.

Когда ребята немного отошли, Иван Никитич протянул руку, хотел было что-то крикнуть, позвать Генку, но, увидев потрясенное, растерянное лицо Терешкина с дрожащей нижней губой, раздумал. Он закинул за плечо ружье и пошел по тропинке. За ним уныло тащился Терешкин, и тетерева с распущенными крыльями бились о его колени, мешая шагать.

Долго шли молча. С деревьев падали последние листья, начинался мелкий дождь. Иван Никитич остановился, затоптал окурок, посмотрел зачем-то на небо и, кивнув в сторону деревни, почесал затылок:

— Поохотились! Нажалуются ведь они на нас с тобой, друг. Ух, характер у шельмеца — железо! Собственного деда готов глазищами сразить.

— Погубют! Ей-бо, погубют! — жалобно твердил свое Терешкин.

— Погубить не погубят, но неприятностей наделают. — Иван Никитич прошел несколько шагов молча и сердито добавил: — Поделом!

— Чегой-то? — встрепенулся Терешкин.

— Дождик, говорю, начинается, и надолго. Паршивое утро.

Тропинка вывела их снова на линию. Побрели по шпалам. Впереди тускло блестели мокрые рельсы.

Кружились скрюченные листья, моросил дождь и тянуло чем-то горьковатым, по всей вероятности тальником, который так густо разросся по обочинам железнодорожной линии.

ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ

Валерий сидит на берегу и уныло смотрит на удочки, а Нинка пытается вырезать из ивового прута свистульку. Свистулька не получается, потому что орудовать складным ножиком — не девчоночье дело. Возле Нинкиных ног валяется уже куча обрезков, но она все равно продолжает стругать.



— Лесу-то сколько извела! — хмыкает Валерий. — Давай-ка я подсоблю.

— Лови уж своих тайменей! — отмахивается Нинка. — Я как-нибудь сама справлюсь. Обещал ухой угостить, а тут рыбой и не пахнет.

Снисходительный тон и насмешливое лицо Нинки бесят Валерия. Если бы на ее месте был парень, он бы уже отведал Валеркиных кулаков. А с этой свяжись, так не рад будешь: орать начнет, царапаться.

И бывает же так! Ну хоть бы какая-нибудь полудохлая рыбешка клюнула! Вон в прошлое воскресенье только пришел, раз — и, пожалуйста, окуня на килограмм вытянул. Ну, килограмма-то, может, и не будет, но все-таки порядочный был окунишка. А сегодня не везет, хоть тресни. Видно, не зря говорят старые рыбаки — они все приметы знают, — что женщину с собой брать — плохое дело. Правда, Нинка не женщина, а девчонка, но вот поди ж ты! Видать, есть в ней что-то такое. Неспроста же рыба и нюхать крючок не хочет, не то чтобы клевать.

Но вдруг лицо мальчика застывает в напряжении, губы вытягиваются, рука шарит по траве, нащупывая конец удилища. Поплавок то ныряет, то ложится набок, то, мелко подпрыгивая, плывет в сторону. «Пора! Пора!»

Валерий с силой дергает удилище, но не чувствует знакомых толчков, похожих на биение пульса, какие бывают, когда на крючке мечется рыба. «Сорвалась!» — холодея, думает он. Нет, над водой мелькнуло что-то похожее на продолговатый ивовый листок. Малявка!

— Выворотил! — слышит он позади себя ехидный голос. — Может, тебе помочь?

— Замри лучше! — кричит Валерка и с силой кидает в воду снятую с крючка малявку.

Рыбка некоторое время плавает на боку, кругами, потом, вяло пошевеливая хвостиком, исчезает в глубине.

— Ушел таймень... — со вздохом говорит Нинка.

— И ушел! А тебе-то что?

— Да мне-то ничего. Ушел и ушел. Пусть себе плавает. А вот ты — вральман!

— Кто вральман? Я?!

— Конечно, ты! Зимой хвастался про рыбалку. На словах чуть ли не китов вытаскивал. «Удилище в дугу! Леска трещит!» Эх ты! Еще и меня сговорил. Пойдем, мол, сама увидишь. Ну и увидела. Вон какое чудовище вытащил. Смех! Все вы, рыбаки, — вральманы!

Валерий сражен.

— Клева сегодня нет, — уныло оправдывается он. — Может, к вечеру начнется...

— А ну тебя! — машет рукой Нинка. — Пойду лучше цветы собирать, а ты сиди, колдуй, если не надоело, авось лягушка клюнет!

Напевая, Нинка, бежит от берега по нескошенному лугу. О ее спину бьются две светлые прядки, похожие на древесные стружки. На бегу трепещет подол красного в горошек платья.

Проводив ее взглядом, Валерий, поднимает с земли складной нож, кладет в карман. Потом, повертев в руках неумело обструганную палочку, швыряет в воду, целясь в поплавок.

— Ну и уходи! — сердито бурчит он. — Подумаешь, горе какое! Еще вральманом обзывает... А я виноват, что ли, раз рыба не клюет!

Валерий расстроен. Ему хочется махнуть рукой на эту самую рыбалку и побежать за Нинкой, но он робеет: «Опять просмеивать начнет. Ей только на язык попадись. Ну ее!»

Он ложится на спину и смотрит в небо. Рыбалка ему опротивела. Глаза сами собой смыкаются. Сквозь дремоту он чувствует, что по лицу кто-то ползает. Валерий морщится, шевелит губами, но назойливая козявка не отстает. Он с досадой открывает глаза: рядом сидит Нинка и с видом заговорщика водит стебельком ромашки по его лицу.

— Баламутка ты! — сердито отмахнувшись, говорит Валерий.

Нинка прыгает на одной ноге, хохочет от восторга, но вдруг неожиданно умолкает.

— Валерка! — горячо шепчет она. — Валерка! Клюет!

— Отчепись!

— Валер! Правда, клюет! Не вру!

— Ну и вытаскивай, если не врешь.

— Вот еще! — подергивает Нинка плечом. И вдруг резко подается вперед. — Во! И у другой удочки клюнуло.

Валерий не отзывается.

Нинка трясет его за плечо, но он сердито сбрасывает ее руку.

Тогда Нинка, откинув в сторону букет, подскакивает к удочке. Она вытаскивает ее не так, как это делают настоящие рыбаки, а пятится вместе с удилищем назад. Возле самого берега бьется на крючке сорога.

— Поймала! Поймала! — вопит Нинка и волочит удочку по траве, подальше от воды. — Валерка, гляди, рыбку поймала! Беленькая, с красными плавниками! Ох и красивенькая! Валерочка, сними ее, пожалуйста, с крючка, она прыгает.

— Поймала, сама и управляйся, — бубнит Валерка, поднимаясь с земли и берясь за другую удочку.

Через секунду он снимает с крючка небольшого подъязка. Потом наживляет червяка и закидывает удочку снова.

Приближается вечер.

Рыба начинает клевать. Валерий не спускает глаз с поплавка.

— Валер! — слышится позади заискивающий голос Нинки. — Надень на крючок червячка, а?

— Хочешь удить, наживляй сама, — хмурится Валерий.

— Чтоб я до такой гадости дотронулась?! Ни за что!

— Тогда не приставай!

Нинка умолкает. Запустив руку в ведерко, она вытаскивает свою сорожку и любуется ею. На носу и в волосах Нинки поблескивают рыбьи чешуйки, похожие на черемуховые лепестки.

Валерий подряд выкидывает на берег двух ельцов, и Нинка не выдерживает. С брезгливой гримасой берет она в руки червяка и пытается нацепить его на крючок. Червяк извивается и, вывернувшись из Нинкиных рук, поспешно уползает в землю. Нинка берет другого и цепляет его за середину.

Валерий исподтишка наблюдает за ней.

— Девчонка ты и есть девчонка! Дай-ка сюда! — снисходительно говорит он. — Тоже мне, рыбак сыскался.

— Не задавайся, пожалуйста. Если хочешь знать, у меня и так клюнет.

— Как же, клюнет! Жди! Что, думаешь, у рыбы ума нет? У ней ума будь здоров сколько, — поучающим тоном говорит Валерий. — Вот гляди: надо крепко держать червяка и продевать ему крючок в утолщенное место — это у него вроде головы... Ну, ловись рыбка большая и маленькая! — Валерка с чувством плюет на скорчившегося червяка и закидывает удочку. — Рыбачь давай. Самый клев начинается.

Минут через пять Нинка выбрасывает на траву вторую сорожку. Ей удивительно везет на сорогу. Нинку охватывает рыбацкий азарт. Чтобы подразнить свою напарницу, Валерий начинает мурлыкать песню.

— Замолчи, несчастный! — шипит Нинка.

Валерий ухмыляется и замолкает.

«Нет, что ни говори, может, там какие приметы и есть — никто не спорит, а с Нинкой стоило идти на рыбалку. Есть в ней что-то такое и этакое», — одобрительно думает Валерий.

Не прошло и часу с тех пор, как начался клев, а они уже

6*

наловили полное ведерко. И по количеству пойманной рыбы Нинка всего на какую-то малость отстала от Валерия.

Он продолжал настороженно следить за поплавком. А Нинка в напряженной позе стояла рядом. Платье ее было перепачкано глиной, волосы растрепались.

Погода стала меняться.

Из-за гор выплыли густые облака, белые и пузыристые, словно мыльная пена. Вначале плыли светлые облака, вслед за ними поползли серые, потом — совсем темные. Солнце, клонившееся к закату, нырнуло в тучи раз, другой, мелькнуло в голубом разрыве и скрылось. Стало тихо и сумрачно. Налетел откуда-то ветер, зашумел кустами, понес длинные паутины, сухие листья, бросил их на воду и погнал по реке, как стайку утят. Поплавки закачались.

— Нинка, сматывай удочки, дождь будет!

— Посидим еще, Валер. Маленько посидим, а?

— Как хочешь. Вообще-то перед дождем самый клев бывает.

— Тогда посидим. Дождь-то теплый. Лето ведь.

— Ладно. В случае чего в ледорез спрячемся. Вон, пониже, ледорезы на реке стоят. Там сверху железо, не промокнем.

Рыба и правда стала лучше клевать. Но теперь ветер дул беспрерывно, и трудно было уследить за поплавками. Валерий еще кое-как различал клев и вовремя подсекал рыбу, а Нинка дергала леску наудачу и злилась: ловиться у нее стало хуже.

Ветер налетел с новой силой, сморщил гладь реки, приземлил кружившихся ворон. Потом на несколько минут наступила тишина. Казалось, все живое кругом притаилось, ожидая чего-то. Но вот в кустах зашуршало, на воде появились мелкие кружки от первых капель. И вдруг разом, сплошной полосой хлестнул дождь. Река мигом покрылась лопающимися пузырьками.

— Бежим, Нинка! — с каким-то радостным возбуждением закричал Валерий и вскочил с места.

— Бежи-им! — послышался приглушенный дождем голос, и рядом с Валерием очутилась девочка, мало чем похожая на прежнюю Нинку. Платье плотно прильнуло к ее телу, отчего Нинка казалась очень тоненькой. Мокрые волосы прилипли ко лбу, шее, вискам, глаза сияли озорством.

Валерий вырвал у Нинки удочку, схватил ее за руку, и они помчались по мокрой траве.

— Стой! — скомандовал наконец Валерий. — Побрели!

Они спустились в воду. Нинка охнула и тотчас же, перекрывая шум дождя, скороговоркой запела:

Дождик, дождик, пуще,
Дам тебе гущи!
Дождик, дождик, припусти,
А мы спрячемся в кусты...

Валерий помог Нинке забраться в ледорез, передал ей удочки и ведерко с рыбой.

— Пригнись, а то шишку посадишь, — предостерег он, влезая в убежище и усаживаясь рядом с Нинкой на толстое бревно крестовины.

Сидели они долго. Дождь не переставал. Он стучал по железной обшивке ледореза, и казалось, что там, наверху, сотни голодных кур торопливо клюют овес.

Нинка поежилась, зябко передернула плечами. Валерий потянул ее за мокрый рукав платья:

— Подвинься ближе, а то совсем замерзнешь.

— Вот еще! Сам не замерзни!

— Двигайся, говорю, нечего нос задирать! — грубовато добавил Валерий, и Нинка, будто нехотя, подсела ближе.

Смеркалось. В убежище было таинственно и тихо. Ребята сидели молча. Глаза Нинки затуманились, начали закрываться, а голова склонилась на плечо Валерия. Она задремала. Валерий сидел, неловко подвернув ноги и сдерживая подступивший кашель. Рука, которой он опирался о крестовину, занемела, но он терпел, не двигался. Лицо его горело, вид был растерянный...

А дождь все шумел и шумел.

ТЫ ПО СУТИ НИЧЕМ
НЕ ОТЛИЧЕН ОТ ПРОЧИХ КОНЕЙ,
ТЫ ПОСЛУШНЫМ И ВЕРНЫМ
ОСТАЛСЯ ДО ЭТОГО ДНЯ.
ТВАРЬ, — КАК ПРИНЯТО ДУМАТЬ
СРЕДИ БЕССЕРДЕЧНЫХ ЛЮДЕЙ, —
ТЫ БОЛЕЗНЬЮ СВОЕЙ
ГЛУБОКО ОГОРЧАЕШЬ МЕНЯ.

Ду Фу



Наши друзья



МАЛАХАЙ

Поселок спал. Ленивое, зимнее солнце еще дремало где-то за темным частоколом лесов, а Малахай уже медленно вдыхал морозный воздух и неторопливо хлопал хвостом по своему выпуклому крупу. Привычка отмахиваться от овода появилась в те годы, когда был он маленьким, тонконогим жеребенком. Эта привычка так въелась в него, что он даже зимой махал хвостом, похожим на обтрепанную метлу.

Возле черной, всегда пахнущей угарным дымом бани Малахай остановился и поглядел вниз на курящуюся парком прорубь. Она была загорожена от заносов пихтовыми вершинками. Малахай мог бы и без остановки довезти бочку до конного двора, но он стар, и ему разрешается даже подремать, пока коновозчик Степка не шлепнет его вожжами. Тогда Малахай качнет оглобли влево, вправо, тронет с места сани и не спеша зашагает по улице.

Еще не доехав до конного двора, Степка бросает вожжи и пулей летит в теплую, пропахшую сбруей конюховку. Долго

греется Степка. Сейчас перепрягут Малахая в другие сани, и он повезет дрова в столовую, затем пристроят на сани короб, и Малахай доставит в кузницу уголь. Потом короб сбросят и поставят на сани посуду с едой для лесорубов. Из лесосеки Степка поедет быстро, будет хлопать вожжами, грозиться. Но пусть он ругается, пусть расхлещет вожжи о закаленный, много битый круп Малахая, конь не прибавит ходу. У него тоже есть характер, и характер привередливый, очень даже привередливый.

На дороге послышались шаги. Идут ребятишки с сумками и портфелями. Сегодня тихое утро, и они отправились в школу пешком, а если бы мело, они поехали бы на Малахае и всю дорогу обзывали бы его «водовозной клячей».

Малахай насторожился, повернул голову в сторону ребятишек. Так и есть. У одного мальчишки прут в руке, и он крадется к Малахаю. Мальчишка ударил коня поперек спины. По заиндевелой шерсти прокатилась мелкая рябь. Мальчишке понравилось бить коня, который стоял понуро и не мог отойти или лягнуть его: упряжь мешала. Но только замахнулся мальчишка, чтобы хлестнуть коня еще раз, послышался окрик:

— За что лошадь бьешь?

— Да разве это лошадь? — засмеялся мальчишка. — Это же кляча водовозная.

Начальник лесопункта Константин Федорович отнял у мальчишки прут, отшвырнул его и опустил чересседельник. Малахай заржал чуть слышно, с пришлепом и старческим сипом, потянулся дряблыми губами к руке Константина Федоровича. А тот вынул из кармана ломоть хлеба и принялся кормить лошадь.

— Живешь, старина, живешь! — приговаривал Константин Федорович, гладя Малахая по плосколобой голове. — Степка опять позабыл про тебя.

Константин Федорович бросил Малахаю сена и, побранив Степку, уехал. На реке он догнал ребятишек. Они стали проситься в кошевку. Но он нахмурился и сказал:

— Не хочу возить таких, и лошадь не захочет.

— Да мы хороших коней никогда не трогаем.

— А Малахай, значит, плохой, да? — еще сильнее рассердился Константин Федорович и неожиданно скомандовал: — Вались в кошевку!

Ребята не заставили себя упрашивать. Когда они немного угомонились, Константин Федорович начал рассказывать.

...Мальчишке было шесть лет, а жеребенку шесть дней от роду, когда они познакомились. Мальчишку звали Котькой, жеребенка — еще никак. Котька был одет в отцовскую фуфайку до колен и поношенные валенки, из которых торчали сенные стельки.

Жеребенок понравился Котьке. У него были длинные ноги с толстыми коленками и темными копытцами, пушистая коротенькая грива, которую Котьке хотелось потрогать рукой. Мальчишка было потянулся, но жеребенок взглянул на него темными, похожими на сливы, глазами и вдруг брыкнул ногами, замотал головой, весело и тонко заржал. Котька вдоволь нахохотался и сказал самое смешное из всех слов, какие слышал:

— Малахай!

Так жеребенок получил имя.

Шли годы. Малахай стал доброй ездовой лошадью. Котькин отец возил на нем древесину по тряским лесным дорогам, а сам Котька учился в школе. Утром и вечером он виделся с Малахаем. Утром заносил ему хлеба, по воскресеньям — шаньги. Малахай медленно жевал, а потом мягкой и нежной губой благодарно трогал Котькино ухо. Вечером мальчик брал Малахая под уздцы и спускался с ним к реке, поил водой. Летом коня запрягали редко. Вместе с другими лошадьми он уходил на летний выгон и там нагуливал силу.

Котька и сюда часто наведывался. Он вырос и теперь уже свободно гладил Малахая по спине. Однажды летом Котька пришел тихий, задумчивый, молча отдал кусочек капустного пирога и тихо сказал коню, задремавшему в стойле.

— Вот, Малахай, дела-то какие. На войну тятька ушел. Я теперь вместо него буду. Восьмой класс до после войны отложить придется. Семья, сам знаешь, какая большущая. Мамке одной не прокормить всех.

Пришла зима. Котька, или, как его теперь все звали, Костиньтин, надел меховую шапку отца, затянул ремнем фуфайку, выпустил штаны поверх валенок и стал похож на коренастого мужичка. Работа коновозчика показалась ему несложной, и только позднее он понял, почему: Малахай настолько хорошо знал лес, дорогу, так умел взять воз с места, спустить его под гору, что если бы Константин и не держался за вожжи, конь все равно бы справился. Да и люди, взрослые люди незаметно, необидно подсобляли ему, Костиньтину: где воз погрузят, где с санями завалившимися управиться помогут.

Константин сначала не понимал этого и однажды потребовал, чтобы навальщики прибавили воз: Малахай, мол, возьмет, ему ништо. Малахай поднатужился, взял воз, тяжело, но взял.

Теперь Константин приносил Малахаю по утрам не хлеб, а вареную картофелину. Конь вздрагивал, губами разминал ее, и взгляд его спокойных и добрых глаз будто говорил: «Ничего, спасибо и за картошку, не дорого угощение, дорого внимание».

Как-то Константин зашел в конюшню в необычное время — поздно вечером, после того, как из города пришла лошадь с почтой. Ее поместили с Малахаем, в стойло. Константин подошел к Малахаю, нащупал в темноте его рот, сунул картофелину и, обняв за шею, заплакал:

— Не запряжет папка тебя больше...

На следующий день Константин еще прибавил воз, и Малахай, пуская ноздрями клубы пара, как паровоз, потянул его. Они уже делали третий, последний в этот день рейс, когда начало смеркаться.

На крутом спуске Константин не сбросил тормоза под сани — надеялся на силу Малахая. Так он делал много раз. Малахай, широко расставляя передние ноги и припадая на задние, медленно спускал сани с бревнами под гору. Константин тихонько сдерживал его вожжами.

Но вот сани покатились быстрее, быстрее. Константин натянул вожжи, но сани все равно катились, воз набирал скорость, толкал Малахая. Сани заскрипели, Малахай захрапел, лес по обочине замелькал, и теперь уже поволокло и Константина. Еще минута — и бревна сломают сани, сомнут коня.

Константин что есть силы натянул вожжи. Малахай почти сел, и в это время воз ударился об что-то под снегом. Константина швырнуло на пень грудью.

Малахай с храпом уперся, хомут с него почти снялся, лопнула шлея в одном месте. Малахая душило, но он держал воз и стоял, и ноги его сделались будто железными и даже вроде позванивали от напряжения.

Конь медленно повернул голову, скосил свой темный, похожий на сливу глаз, заметил Константина, лежавшего грудью на пне. Паренек раскинул руки, будто обнимал кого-то — конь громко и тревожно заржал.

Электропильщик, работавший неподалеку, выключил пилу, прислушался. Малахай вдруг заржал. Это было странно.

— Беда! Беда какая-то!.. — закричал электропильщик, и все побежали из лесосеки на голос коня.

Константина отпоили водой. С ним ничего не случилось, отлежался дома, даже в больницу не ездил. А Малахай еще сумел сойти под гору и тут, тоскливо взглянув на Константина, медленно опустился на снег.

— Больше месяца я ухаживал за Малахаем, как за малым ребенком, — рассказывал Константин Федорович. — Поправился он немного, но лес на нем уже нельзя возить. И вот много лет конь этот рабочий, конь этот трудяга служит людям, верно служит, старый, надсаженный, некрасивый, а для меня самый большой друг...

Дорога ровно бежала по реке, поблескивая двумя лентами, продавленными полозьями. Конь весело и бодро пофыркивал да постукивал на раскатах подковами. Все было синевато и спокойно кругом. Константин Федорович молчал. Ребятишки тоже примолкли.

БЕЛОГРУДКА

Деревня Вереино стоит на горе. Под горою два озера, и на берегу их, отголоском крупного села, ютится маленькая деревенька в три дома — Зуята.

Между Зуятами и Вереино огромный крутой косогор, видный за много десятков верст темным горбатым островом. Весь этот косогор так зарос густолесьем, что люди почти никогда и не суются туда. Да и как сунешься? Стоит отойти несколько шагов от клеверного поля, которое на горе, — и сразу покатишься кубарем вниз, ухнешь в накрест лежащий валежник, затянутый мохом, бузиною и малинником.

Глухо на косогоре, сыро и сумеречно. Еловая и пихтовая крепь надежно хоронит от худого глаза и загребущих рук жильцов своих — птиц, барсуков, белок, горностаев. Держатся здесь рябчик и глухарь, очень хитрый и осторожный.

А однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых скрытных зверушек — белогрудая куница. Два или три лета прожила она в одиночестве. Изредка появляясь на опушке, Белогрудка вздрагивала чуткими ноздрями, ловила противные запахи деревни и, если приближался человек, пулей вонзалась в лесную глухомань.

На третье или четвертое лето Белогрудка родила котят, маленьких, как бобовые стручки. Мать грела их своим телом, облизывала каждого до блеска и, когда котята чуть подросли, стала добывать для них еду. Она очень хорошо знала этот косогор. Кроме того, была она старательная мать и вдосталь снабжала едой котят.



Но как-то Белогрудку выследили вереинские мальчишки, спустились за ней по косогору, притаились. Белогрудка долго петляла по лесу, махая с дерева на дерево, потом решила, что люди уже ушли, — они ведь часто мимо косогора проходят, — вернулась к гнезду.

За ней следило несколько человеческих глаз. Белогрудка не почувствовала их, потому что вся трепетала, прильнув к котяткам, и ни на что не могла обращать внимания. Белогрудка лизнула каждого из детенышей в мордочку, дескать, я сейчас, мигом, и вымахнула из гнезда.

Корм добывать становилось день ото дня трудней и трудней. Вблизи гнезда его уже не было, и куница пошла с елки на елку, с пихты на пихту, к озерам, потом к болоту, к большому болоту, за озером. Там она напала на простофилю-сойку и, радостная, помчалась к своему гнезду, неся в зубах рыжую птицу с распущенным голубым крылом.

Гнездо было пустое. Белогрудка выронила из зубов добычу, метнулась вверх по ели, потом вниз, потом опять вверх, к гнезду, хитро упрятанному в густом еловом лапнике.

Котят не было. Если бы Белогрудка умела кричать — закричала бы.

Пропали котята, исчезли.

Белогрудка обследовала все по порядку и обнаружила, что вокруг ели топтались люди и на дерево неловко лез человек, сдирая кору, обламывая сучки, оставляя разящий запах пота и грязи в складках коры.

К вечеру Белогрудка точно выследила, что ее детенышей унесли в деревню. Ночью она нашла и дом, в который их унесли.

До рассвета она металась возле дома: с крыши на забор, с забора на крышу. Часами сидела на черемухе, под окном, слушала — не запищат ли котятки.

Но во дворе гремела цепью и хрипло лаяла собака. Хозяин несколько раз выходил из дома, сердито кричал на нее. Белогрудка комочком сжималась на черемухе.

Теперь каждую ночь она подкрадывалась к дому, следила, следила, и все гремел и бесновался пес во дворе.

Как-то Белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до света, а днем не решилась уйти в лес. Днем-то она и увидела своих котят.

Мальчишка вынес их в старой шапке на крыльцо и стал играть с ними, переворачивая кверху брюшками, щелкая их по носу. Пришли еще мальчишки, стали кормить котят сырым мясом. Потом явился хозяин и, показывая на кунят, сказал:

— Зачем мучаете зверушек? Отнесите в гнездо. Пропадут.

Потом был тот страшный день, когда Белогрудка снова затаилась на сарае и снова ждала мальчишек. Они появились на крыльце и о чем-то спорили. Один из них вынес старую шапку, заглянул в нее.

— Э, подох один.

Мальчишка взял котенка за лапку и кинул собаке. Вислоухий, дворовый пес, всю жизнь просидевший на цепи и привыкший есть, что дают, обнюхал котенка, повернул лапой и стал неторопливо пожирать его с головы.

В ту же ночь на селе было придушено множество цыплят и кур, на высоком заплоте задавился старый пес, съевший котенка. Белогрудка бегала по забору и до того раздразнила дураковатую дворнягу, что та ринулась за ней, перепрыгнула через забор, сорвалась и повисла.

Утят, гусят находили в огородах и на улице задавленными. В крайних домах, что ближе к лесу, птица вовсе вывелась.

И долго не могли узнать люди — кто это разбойничает ночами на селе. Но Белогрудка совсем освирепела и стала появляться у домов даже днем и расправляться со всем, что было ей под силу. Бабы охали, старухи крестились, мужики ругались.

— Это ж сатана! Накликали напасть!

Белогрудку подкараулили, сшибли дробью с тополя возле старой церкви. Но белогрудка не погибла. Лишь две дробины попали ей под кожу, и она несколько дней таилась в гнезде, зализывала ранки.

Когда она вылечила себя, то снова пришла к тому дому, куда ее будто на поводе тянули.

Белогрудка еще не знала, что мальчишку, взявшего кунят, пороли ремнем и приказали отнести их обратно в гнездо. Но беззаботный мальчишка поленился лезть в лесную крепь, бросил кунят в овражке возле леса и ушел. Здесь их нашла и прикончила лиса.

Белогрудка осиротела. Она стала давить напропалую голубей, утят не только на горе, в Вереино, но и в Зуятах тоже.

Попалась она в погребе. Открыв западню погреба, хозяйка крайней в Зуятах избы увидела Белогрудку.

— Так вот ты где, сатана! — всплеснула она руками и бросилась ловить куницу. Все банки, кринки и чашки были опрокинуты и побиты, прежде чем женщина сцапала куницу.

Белогрудку заключили в ящике. Она свирепо грызла доски, крошила щепу.

Пришел хозяин. Он был охотник. И когда жена рассказала, что изловила куницу, заявил:

— Ну и зря. Она не виновата. Ее обидели, осиротили. — И выпустил куницу на волю, думая, что больше она в Зуятах не появится.

Но Белогрудка принялась разбойничать пуще прежнего. Пришлось охотнику задолго до сезона убивать куницу.

На огороде, возле парников он увидел ее однажды, загнал на одинокий куст и выстрелил. Куница упала в крапиву и увидела бегущую к ней собаку с мокрым, гавкающим ртом. Белогрудка змейкой взвилась из крапивы, вцепилась в горло собаки и умерла.

Собака каталась по крапиве, дико выла. Охотник разжимал зубы Белогрудки ножом и сломал два пронзительно острых клыка.

До сих пор помнят в Вереино и в Зуятах Белогрудку. До сих пор здесь строго наказывают ребятам, чтобы не смели трогать детенышей зверушек и птиц.

Спокойно живут и плодятся теперь меж двух сел, вблизи от жилья, на крутом лесистом косогоре белки, лисы, разные птицы и зверушки. И когда я бываю в этом селе и слышу густоголосый утренний гомон птиц, думаю одно и то же: «Вот если бы таких косогоров было побольше возле наших сел и городов!»

СТРИЖОНОК СКРИП

Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли. И стрижонку казалось, что это мама стрижиха стучит клювом по скорлупке яйца. Она так же стучала перед тем, как выпустить его наружу.

Стрижонок проснулся оттого, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама стрижиха тоже выклевала из яиц.

А самой мамы не было.

— Скрип! — позвал ее стрижонок.

— Скрип! Скрип! Скрип! — повторили за ним братья и сестры.

Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружней запищали:

— Скрип! Скрип! Скрип!

И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли.

— Скрип! — послышалось издалека.

«Так это ж мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей.

Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу — первому стрижонку.

Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая.

— Скрип! — сказал он. Еще, мол, хочу.

— Скрип-скрип! — радостно ответила мама стрижиха. Сейчас, дескать, сейчас. И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама стрижиха поила его из клюва.



И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал:

— Скрип! — И даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама отдала не ему, а другому стрижонку.

Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других.

Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком.

Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами.

Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата. И были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом.

Маме стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была старательная мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли. Приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой.

Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мушку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть!

А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама стрижиха приносит еду и ветряные запахи на крыльях.

Пополз стрижонок Скрип. И чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет.

Боязно!

Но Скрип был храбрый стрижонок, он полз и полз.

Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама стрижиха, схватила его, уволокла в глубь норки — и раз-раз его клювом по голове. Сказала сердито:

— Скрип-скрип! — И еще по голове, и еще по голове.

Очень рассердилась мама стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там, за норкой опасно, раз мама стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких, проворных стрижей.

Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка.

Побольше подрос Скрип, догадываться об этом стал. Ему делалось жутко, когда там, за норкой раздавалось пронзительное «тиу!» Тогда мама стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и, тоже крикнув грозное «тиу!», мчалась из норки.

И все стрижи с криком «тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в сто раз больше стрижей, они

все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все, как один. Коршун и ворона скорей-скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела.

Однажды мама стрижиха вылетела на битву с врагом — разбойником соколом.

Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей — Белое брюшко, дал отбой, крикнув победоносное «тиу!». Но мама стрижиха еще гналась за коршуном, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам.

Тут сокол круто развернулся, ударил маму стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло.

Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал ее. И братцы и сестренки тоже звали. Мама стрижиха не появлялась, не приносила еду.

Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Скрип был с братьями и сестрами без мамы.

Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется.

Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи! Ночью к ним нырнул вожак — Белое брюшко, пощекотал птенцов клювами, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассветало, в норку к Скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова залетал вожак — Белое брюшко.

Выросли стрижата — не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло — самим добывать себе пищу и строить свой дом.

Это было радостно и жутко!

Скрип помнит, как появился в норке вожак — Белое брюшко. Вместо того чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу.

Ну что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и... полетел! И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые. Все-все! И погнали они его от норки всей стаей навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу.

— Скрип! Скрип! — испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собою воду. — Скрип! Скрип! «А если я упаду?» — с ужасом подумал он.

Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом.

Потом крики стрижей остались позади, свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один летает над рекой! И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» — и закружился, закружился, над рекой, над берегом, над лесом. Даже в облако один раз залетел. Но там ему не понравилось — темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь ее брюшком.

Хорошо жить! Хорошо, когда сам умеешь летать! Скрип! Скрип!

А потом Скрип и сам стал помогать стрижам — вытаскивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал:

— Скрип! Скрип! Держи его! Догоняй!

И ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет!

Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете. И оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился. Он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее он не смог. Ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки ему казались одинаковыми. Норок много, разве их различишь?

Скрип сунулся в одну норку — не пускают, в другую — не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу! На берегу страшно. В норке лучше.

И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими ноготками, выклевывал ее и уносил к воде, снова возвращался к яру и опять клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть.

Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он маленько покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще неглубокую норку.

Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру, один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в ру-

ках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами!

Но ничего попались ребятишки, хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул:

— Тиу!

Все стрижи высыпали из норок, глядят — никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели — молодой еще.

Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался в глубь яра, что норку эту отличал уже ото всех.

Как-то опять пришли мальчишки, засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы-мальчишки! И вообще совесть надо иметь!»

Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, сделался стремительным, сильным. Но вот отчего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а все летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стан, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа, на рассвете вдруг услышал призывный голос вожака — Белое брюшко.

— Тиу! — крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет. Взмыл Скрип и видит: все небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту.

— Тиу! — звал вожак. И стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю.

— Скрип! Скрип! — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем.

— Скрип! До свиданья! — крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли.

— До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку! — кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки.

Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они тоже в одну ночь и приносят с собою лето.

Скучно без стрижей на реке. Чего-то не хватает.

Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее! Приноси нам на крыльях лето!

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Избушка наша стояла у самого леса. В обрывистый берег мы вкопали баню. Над баней огромная листвень, и к ней березка притулилась. Мы не трогали эти деревья. Они наподобие маяка для пароходов были.

И вот однажды, в конце августа, выхожу я из избушки. Бело кругом от инея. Лес оцепенел, притих. В Заполярье ведь осень рано начинается. Слышу: тэк-тэк-тэк, тэк-тэк...



Глухарь токует. Робко, правда, по-осеннему, но токует. Глянул — на листвени, над баней, ходит по суку, распустил крылья, здоровенный бородатый глухарь. Я в избушку, за ружьем.

Дед ружье у меня отобрал.

— Что за корысть — старика ухлопать? Птицы мало тебе?

Птицы в Заполярье, особенно в эту пору, много, и, конечно, дед был прав. Зачем старого глухаря губить? Мясо у него жесткое, как дерево.

И вот каждое утро, на заре, к бане выходил из лесу старый песельник. Он не прилетал, а именно приходил и вспархивал на нижний сук листвени. Посидит, посидит, осмотрится и словно бы ненароком уронит: «Тэк!» Послушает, как получилось, и повторит: «Тэк-тэк!». А потом разойдется, разойдется. Глядит на зарю и напевает. Крылья раскинет, перья у него на зобу дыбом поднимутся — топчется, хорохорится.

Может быть, чувствовал старик, что до весны не дотянет, вот и спешил сыграть свою немудреную песню.

Однажды к нам из города приехали ягодники и охотники. Ночевали они в бане. Рано утром выстрел прокатился по лесу, расколол тишину. Подбежал я к окну, вижу: с листвени медленно падает наш певец. Упал, забился. Дед из избушки выскочил, поднял за крыло глухаря и сказал с глубокой печалью:

— Эх, дураки! Последнюю песню убили...

РАДОСТЬ ПЕРВОГО ПОЛЕТА

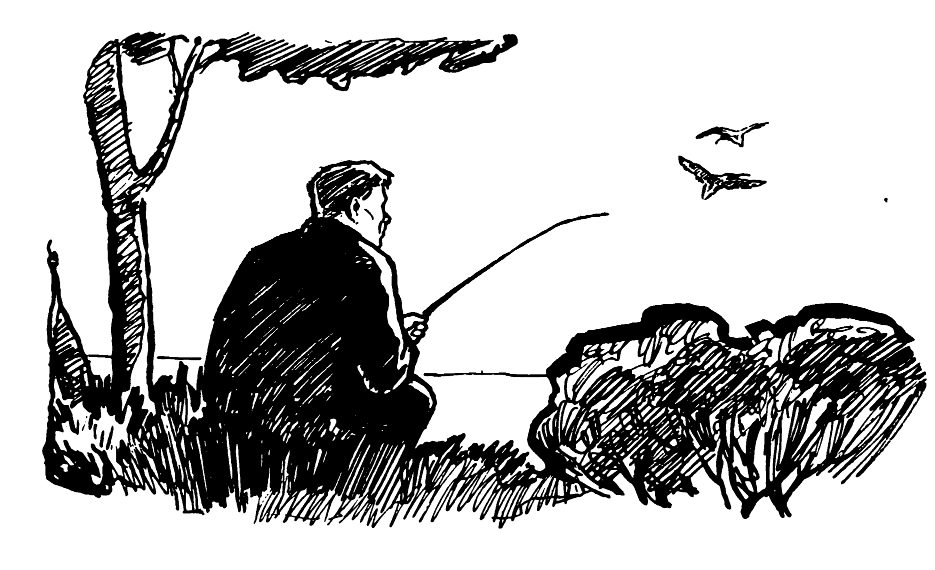
Осторожно пробираюсь по речке Быковке с удочкой. Черемушник наклонился над нею. Цвет с черемух почти осыпался. Деревца стояли с еще неполным листом и чуть обозначившимися ягодками, немного растерянные, неприбранные. Слишком быстро сорвало сильным ветром с них цвет. Над речкою два дня бушевала словно бы снежная метель. Не обило лишь нижние кисти черемух. Они касались воды, размазывали свои же белые отражения и густо сорили в струи речки чешую цветов.

От этого речка вроде бы взялась куржаком под бережками, в уловцах и возле замоин. По всему извилистому коридору речки плыл тугою струею горьковатый запах тлеющего цвета. Было не по-весеннему тихо, будто перед заморозком. Злой ветер растрепал деревья, смял их школьные выпускные наряды из снежного шелка и успокоился. Изредка на кружливых плесах раздавался всплеск — это хариус бросался на крутящийся в воде лепесток, приняв его за мотылька.

Я закинул удочку. Жду поклевку и думаю, любуюсь, чуть грущу. «Отцвела вот черемуха, быстро отцвела и не ко вре-

мени. И жизнь вот так же...» Словом, мысли тихие, меланхоличные, мигом и бесследно уходящие. Слышу издали, из черемушной густоты, несется звонкое, такое тонкое: «Тити-вити, тити-вити, тити-вити».

Что за оказия?! Днем, при всем свету, при ярком солнце поют кулики — вечерние птицы! И главное, судя по голосам, — кулики-то молоденькие. А у куликов ведь совсем недавно были свидания возле весенних снеговых луж, и долгоносый кавалер взмывал ввысь и такую самодеятельность



устраивал перед серенькими клюватыми дамами, такой пилотаж давал, такие кренделя выделывал — куда там!

Сразив искусством какую-либо куличиху, он уединялся с нею в листья желтого калужника и замолкал до вечера. А вечером кулик снова летал над речкою, покинув милую подружку, и этак мелодично наговаривал: «Тить-вить, тить-вить, тити-уить, вот он я, куличок-мужичок, неженатый-холостой, налетай, девчата!»

Это было совсем-совсем недавно, и совсем недавно тот самый кулик всю ночь зазря летал над Быковкой и сзывал невест, сначала самоуверенным пеньем, потом уж заполошным криком. С этой ночи он стал холостым до будущей весны и ныл, стоя на одной ноге возле каменных обмысков. Спокинули, мол, забыли! А сколько было?! Эх вы!

Но скоро и кулик замолк, спрятался в крепь чащобную — менять нарядные весенние перышки на будничные. Весна подходила к концу, кончалось праздничное буйство.

Затихли кулики, и я думал — до осени затихли. А гляди ты! «Тити-вити, тити-вити, тити-вити!» — приближается ко мне песня, и никаких. Что за гуляки такие?!

Тут, прямо из черемух, из речной пахучей студености вылетели два кулика, взмыли с песнею над моей удочкой и стриганули вверх по речке. Хвостики у них веерочком, у лапок голенько, и клювики еще желтоватые, остренькие, как только-только высунувшиеся из земли травинки.

Куличата-детеныши — и уже на крыле?! Ну и труженица у них мать! Уже успела вырастить дитят! Когда и успела только?

«Тити-вити! Тити-вити»! — Дальше и дальше летят кулички. Ну, летите, летите, может, мать где вас ждет?

Смолкла песня. Нашли, должно быть, родительницу малыши. Однако через несколько секунд песня возникла за тем же поворотом вниз по речке и опять понеслась по черемуховому коридору и стала приближаться ко мне. Снова куличата вынырнули из черемух, качнулись над удочкой вверх, показали лапки, прижатые к животам, покрытым еще мягоньким и реденьким пушком, показали хвостики, похожие на зубчатое кружевце, нежно и тонко сплетенное.

Я думал — все, больше не прилетят. Но куличата вновь и вновь делали круг, возвращались за поворот речки и оттуда, набрав разгон, тянули вверх по течению, пролетали рядом со мной, плавно и как-то важно взмывали над удочкой, ровно бы всем своим видом хотели сказать: «Гляди, как мы умеем!»

И я догадался: да они и в самом деле хотят, чтобы кто-нибудь видел, как они летают! Ну, конечно же, они лишь сегодня, может утром, а может быть, и всего несколько часов назад, «встали на крыло». И вот летают и не могут налетаться. Им, наверное, так хочется поделиться с кем-то своей радостью, счастьем первого полета!

Я решил проверить: так ли это? Пробрался за поворот речки, сел на мысочке подле подмытой ивы и закинул удочку. Сразу же сильно взял хариус, второй — и мне стало не до птичек.

А они между тем кружились высоко над речкою, над вершинами ольшаника, черемух, и не то удивленно, не то растерянно покрикивали: «Ти-вить! Ти-вить!»

«Уж не ищут ли они меня?» — подумал я, и тут кулички отыскали мою засидку, радостно вскрикнули, трепыхнули крыльями вниз, развернулись и пошли над речкою с этой восторженно-упоительной песенкой. Зорким круглым глазом косили куличата на меня, делая дугу над удочкой, и трепетали еще маленькими, несильными крылышками, и напевали, напевали, напевали...

— Да вижу, вижу, — ворчал я на них. — Ну летаете! Ну рад за вас! А зачем же рыбачить-то мешать?

Кулики, должно быть, понимали, что я несердито им выговариваю, и все летали, летали надо мною, до самого позднего вечера, пока я не ушел домой.

ЛЕЖАЧЕГО НЕ БЬЮТ

По узеньким берегам-бечевкам Койвы стояли стога сена. Конечно, покосы эти не очень завидные, но на горах и вовсе сена не накосишь. Все покосы усыпаны стаями дроздов, трясогузок и других мелких птиц. Обычно сварливые, дрозды трещат, кричат, скандалят, а в ту осень они были молчаливы и на деревья не поднимались. Птицы валами уходили от нас, делая короткие перелеты. Бескормица. Страшное бедствие для птиц вообще, а для дроздов особенно, так что не всякая осень в радость.

В добрую, урожайную осень дрозды просыпаются вместе с зорькой и тучами перепархивают с рябины на рябину и клюют, клюют до позднего часа. Надоест рябина, можно поклевать черемухи, калины, заячника — чего душе угодно. А тут не только рябины, но и никакой другой ягоды нет. Вот и собирали дрозды на покосах семечки, осыпавшиеся с трав. А что для них семечки?!

Некоторые дрозды уже и летать не могли. С жалобным криком убегали от нас и прятали головки в кусты или между камней. Я взял одного, другого дрозда, чтобы обогреть за пазухой. Сердчишки у птиц бились часто-часто.

Чем дальше мы шли, тем больше встречали ослабевших, а потом и мертвых птичек. Тяжел перелет в голодную осень.

Хищники беспощадно уничтожали птиц, особенно свирепствовали молодые соколы. Они били на лету дроздов и бро-

сали, даже не взглянув на добычу, — насытились и били так, для тренировки, а может, охотничьего азарта побороть не могли.

Впереди нас поднялась стайка дроздов, и тут же из скал стремительно вылетел сокол, ринулся за одной птичкой. Зачирикал, затрещал дрозд от ужаса. Летит впереди сокола,



виляет из стороны в сторону, кричит. Вот-вот настигнет его хищник. И вдруг дрозд со всего маху на воду сел. Взвился сокол и улетел. А дрозд потихоньку, потихоньку добрался до берега, выпрыгнул на камень, отряхнулся и головку утянул, съежился.

Знает, видимо, дрозд, как и многие другие птицы, что сокол лежачего не бьет, а только на лету, вот и сообразил, как уберечь жизнь. Я взял и этого дрозда, отогрел за пазухой, а потом отпустил возле стога сена, чтобы он подкормился. Сохранился ли он, этот крикливый дроздишка?

Уж очень тяжелая осень для птиц была тогда. На Урале такие осени не редки. И если осенью трудно птицам, то каково им зимой?

Тысячи птиц гибнут. Спасаясь от холода, они часто переселяются ближе к жилью людей. А тут их ловят кошки, да еще ребятишки иной раз бьют.

А как было бы хорошо, если бы каждый мальчик или девочка кормушку для птичек сделали да повесили бы ее в палисаднике, или огороде, или на опушке леса. Сколько тогда песен, звонких, заливистых, радостных, услышим мы весной — песен тех, кто пережил большую, трудную зиму.

БРОДЯГА-ПЕСЕЦ

В детстве я много раз слышал, что песцы очень хитрые, блудливые зверюшки и что они не переносят неволи. Однажды я, да и не только я, а все ученики двенадцатой школы имели полную возможность в этом убедиться.

Школа наша стояла на окраине города Игарки, возле Медвежьего лога. За логом — лесобиржа, рядом мелкий ельник и заросли карликовых березок.

Однажды осенью песец пошел через город. Надо сказать, что многие звери, когда они «идут», иначе говоря, делают огромные перекочевки, никаких преград знать не хотят: город ли, вода ли, железная ли дорога — все равно идут.

Кто там у зверей планирует и выбирает маршруты — неизвестно, но если уж маршрут есть, песцы не свернут с него.

Много песца пострадало в ту осень. Гоняли песцов по улицам собаки и давили, а то на бирже вдруг визг поднимался. Это значит: укладчицы — девчата — песца увидели и с досками бегают за ним вокруг штабелей, пока не зашибут. Глядишь, даровой воротник.

Непонятны, таинственны законы зверей. Ну что бы, казалось, им обойти стороной город — гибель свою?

Нет, идут, на смерть идут, как говорится, без страха и сомненья...

В ту осень мы организовали в школе живой уголок. Сейчас мне трудно припомнить все, что там было, но белка, клест, снегирь, кулик долгоногий, чирок-трескунок, мыши были.

В зимнее время мы решили пополнить уголок новыми экспонатами, которых летом не сыщешь, — белыми куропатками, пушистыми зверьками и, конечно, если удастся, песцом.

И вот на тебе, что называется, на ловца и зверь — песец— идет через город...

Однако долго не удавалось нам изловить песца.

Но нам повезло.

Был урок ботаники. Не помню уж, чего мы тогда проходили. Должно быть, что-то интересное, потому что в классе было тихо. И вдруг:

— Ой, ребята, глядите!

Один парнишка, что сидел подле окна, сказал это таким голосом, что все мы ринулись к окнам.



— Прекратить! — закричал учитель, но не удержался и тоже в окно посмотрел.

А там, за окном, на помойке промышлял отощавший в изнурительном пути белый песец.

Мы немедленно организовали облаву и набросили на песца пальто.

С шумом, гамом мы водворили песца в комнату, названную живым уголком.

Весь день толпились ребятишки возле двери и заглядывали в замочную скважину. Дверь нам не открывали, чтобы «не вносить нервозность в животный мир», как выразился руководитель кружка Зоська Мокрохвостов.

Задавался он страшно, этот Зоська, разговаривал только «учеными словами».

Так мы в тот день и не разглядели песца. В замочную скважину что увидишь? Только заметно: белеет что-то, да слышен обеспокоенный щебет пичужек и злой, настороженный цокот белки.

А назавтра...

Назавтра с самого утра в школе была паника. Зоська Мокрохвостов пришел раньше всех в школу проверять живой уголок. Заглянул в него и... никого не увидел. Пусто. Зоська даже дверь не закрыл: такой добрый — смотрите, ребятки, пожалуйста, смотрите, сколько душе угодно.

А чего теперь смотреть-то? Нечего смотреть.

Песец разломал деревянные клетки, съел все «экспонаты» и в форточку удрал. Это потому, что Зоська Мокрохвостов забыл форточку закрыть. Остались от живого уголка только перышки одни — рожки да ножки.

И как он, этот песец, догадался и сумел удрать в форточку? Ведь живой-то уголок был на втором этаже!

Видно, очень-очень любит свободу красавец-песец. Не хотелось, должно быть, ему отставать от своих товарищей, которые шли только им ведомой дорогой и только одним им известно — куда и зачем. А живым уголком песец «закусил» на дорожку. Так с тех пор и не было у нас в школе живого уголка. И правильно! Незачем держать птиц и животных в неволе.

Любишь птиц — иди в лес, смотри на них, слушай, подкармливай, изучай, но в клетки не закрывай. Птица не для тюрем рождена, а песец тем более. Песец простор любит. Вот там, среди этого снежного простора, выследи хитрого зверька, добудь, тогда охотником называться будешь. А на перепутье, да еще голодного, да еще такой оравой — и медведя поймать можно, только чести-то сколько таким добытчикам?

КАК МУРАВЬИ У МАЛЬЧИКА СТРАХ ОТНЯЛИ

Больше всего на свете Славик боялся змей. Бабушка говорила, что мама его тоже боялась змей и что это у него наследственный страх, с которым даже докторам не сладить.

Ошиблась бабушка.

Пошел как-то Славик с ребятами по землянику в лес. Ягод назрело так много, что у него глаза разбежались, и он стал метаться туда-сюда, кидал две ягодки в рот — одну в кружку и совсем забыл о ребятах, друзьях своих. Возле пенька он увидел крупные-прекрупные земляничины. Такие ему еще и не попадались. «Сорву-ка я их вместе с кустиками и сестрен-



ке Варе принесу. Вот обрадуется!» — Протянул он руку к ягодам, а с пенька: «Шш-ш».

Оторопел Славик. На пеньке клубочком лежала змея и грелась. Славик сначала попятился, а потом как закричит на весь лес, пронзительно так, жутко.

Ребята к нему.

А он ничего и сказать не может, только пальцем на пенек показывает.

— Кого испугался? Гадюки?! — презрительно сказал один парнишка и плюнул себе под ноги. — Гляди, как мы с ней расправимся! И тут все ребята схватили палки и двинулись к пеньку.

— Не троньте! — закричал пуще прежнего Славик. — Ой, не троньте! Бою-у-усь!

Ребята видят: Славик в самом деле бледный-бледный сделался. И тогда кто-то из них сказал:

— Эх ты, трус! Муравьи и те храбрей тебя! Смотри!

Тут ребята окружили пенек и давай сгонять гадюку с него. Она шипела, шипела, грозно голову приподнимала. Но ребята не отступали, начали тыкать в нее палками, и она лениво сползла с теплого пенька.

Ребятишки с шумом ринулись за черной гадюкой и погнали ее к муравейнику. Гадюка было в сторону, но ребята не дали ей улизнуть. Так и этак юлила змея, шипела, в грозную пружину свивалась, да не тут-то было. Ребята гнали ее и гнали, но не убивали почему-то.

Обалдевшая от страха и злости змея ринулась на муравейник, и тут на нее напали хозяева — муравьи. Взвилась гадюка, в узлы и в восьмерки завязывалась, а муравьи ее кусают, а муравьи ее кусают!

Ребятишки кричали:

— Так ее! Так ее! — И Славика поближе подталкивали: — Гляди, как они ее! Гляди! Да не бойся, не бойся!

Славик близко не подошел, а только из-за дерева выглянул и увидел: гадюка уж еле-еле шевелится — доконали ее муравьишки.

Славик нерешительно подошел к муравейнику, долго смотрел на неподвижную уже змею, а потом восхищенно сказал друзьям:

— Вот это да! Такие муравьи маленькие и такие бесстрашные! — И признался: — А я один раз муравейник ботинком раскидал. Весь раскидал. Так просто, взял и раскидал...

С тех пор Славик ходит один по лесу и не разоряет муравейников и другим не дает разорять. Ведь в них живут такие храбрые, такие трудолюбивые хозяева — муравьишки.

КАПАЛУХА

Мы приближались к альпийским уральским лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу.

Тайга поредела. Леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и северной стужей. Лишь кое-где среди редколапых елей, пихт и лиственниц пошевеливали робкой листвой

березки и осинки да меж деревьев развертывал свитые улитками ветви папоротник.

Стадо телят и бычков втянулось на старую, заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже, шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучкастый валежник.



В одном месте на просеку выдался небольшой бугорочек, сплошь затянутый бледнолистым, зацветающим черничником. Зеленые пупырышки будущих черничных ягод выпустили чуть заметные серые пылиночки — лепестки, и они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнет увеличиваться, багроветь, затем синеть и наконец сделается черной с седоватым налетом.

Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветет она скромно, пожалуй, скромнее всех других ягодников.

У черничного бугорка поднялся шум. Побежали телята, задрав хвосты, закричали ребятишки, которые гнали скот вместе с нами.

Я поспешил к бугорку и увидел, как по нему с распущенными крыльями бегает кругами глухарка (охотники чаще называют ее копалухой).

— Гнездо! Гнездо! — кричали ребята.

Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого гнезда нигде не видел.

— Да вот же, вот! — показали ребятишки на зеленую корягу, возле которой я стоял.

Я глянул, и сердце мое забилось от испуга — чуть было не наступил на гнездо. Нет, оно не на бугорке было свито, а посреди просеки, под упруго выдавшимся из земли корнем. Обросшая мохом со всех сторон и сверху тоже, затянутая седыми космами, эта неприметная хатка была приоткрыта в сторону черничного бугорка. В хатке, утепленное мохом, — гнездо. В гнезде четыре рябоватых светло-коричневых яйца. Яйца чуть поменьше куриных. Я потрогал одно яйцо пальцем, оно было теплое, почти горячее.

— Возьмем! — выдохнул мальчишка, стоявший рядом со мною.

— Зачем?

— Да так!

— А что будет с капалухой? Вы поглядите на нее!

Капалуха металась в стороне. Крылья у нее все еще разброшены, и она мела ими землю. На гнезде она сидела с распущенными крыльями, прикрывала своих будущих детей, сохраняла для них тепло. Потому и закостенели от неподвижности крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец взлетела на ветку ели, села над нашими головами. И тут мы увидели, что живот у нее голый вплоть до шейки, и на голой, пупыристой груди часто-часто трепещется кожа. Это от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце.

— А пух-то она выщипала сама и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птенцам, — сказал подошедший учитель.

— Это, как наша мама. Она все нам отдает. Все-все, каждую капельку... — грустно, по-взрослому сказал кто-то из ребят и, должно быть застеснявшись этих нежных слов, произнесенных впервые в жизни, недовольно крикнул: — А ну, пошли стадо догонять!

И все весело побежали от капалухиного гнезда. Капалуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею. Но глаза ее уже не следили за нами. Они целились на гнездо и, как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, заползла в гнездо, распустила крылья и замерла.

Глаза ее начали затягиваться дремной пленкой. Но вся она была настороже, вся напружинена. Сердце капалухи билось сильными толчками, наполняя теплом и жизнью четыре крупных яйца, из которых через неделю-две, а может, и через несколько дней, появятся головастые глухарята.

И когда они вырастут, когда звонким зоревым апрельским утром уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, в песне этой будут слова, не понятные нам птичьи слова о матери, которая отдает детям все, иной раз даже жизнь свою.

ДЯТЛЯТА

Всего несколько дней мы пробыли на альпийских полянах, но как за это время изменилось все в тайге! Трава выше, цветы уже осыпаются, листва на деревьях сделалась густой, появились комары и мошка. Здесь, в приполярном Урале, все торопится цвести, расти, рожать. Медлить некогда — лето короткое.

И вот проклюнулись на свет первые птенцы. Это уж всегда так: появились мошки, мушки, червячки — птичье питание — и сами птенцы тут как тут. Родись раньше — с голоду умрешь.

Первых птенцов мы услышали далеко. Они кричали дружно и требовательно. Кричали наподобие сверчков, только куда громче и капризней. Сверчок, тот добродушно трюкает, успокаивает, усыпляет. А этих за километр слышно: «Фрик! Фрик! Фрик!».

Огромная, пустая в середине пихта. Вся она в дырах. Из какой-то дыры доносится это «фрик-фрик!». Мы сгрудились возле дупла, головы задрали, смотрим. Птицы не показываются, а только орут.

Прилетела мать — красноголовая дятлиха — и еще издали строго крикнула:

— Эй вы, неразумные! Тут народу полно! Замолчите!

Всякие птенцы, услышав окрик матери, мгновенно стихают, а эти, наоборот, обрадовались, зафрикали еще дружнее. Дятел не очень побаивается человека, знает, что только дурак может тронуть его — лесного работягу. Видимо, потому и не передается страх дятловым птенцам.

Они орут себе, требуют пищи — и никаких гвоздей.

Покружилась дятлиха вокруг дупла, поусмиряла детей — не действует, они добавляют голосу: «Давай есть, и все!»

Тогда дятлиха подлетела к дуплу, села на него, глянула

на нас сверху: «И чего вам тут надо? Шли бы своей дорогой!» Долбанула раз-другой по гулкому дуплу, подумала маленько и, видимо, решила: «Да плевать мне на вас, хоть вы и люди!» И прыг-прыг вверх по дуплу — только мы ее и видели!

Унырнула она в одну из дыр дупла. Унырнула, конечно, совсем не в то место, где сидят птенцы, а повыше. По тому как радостно зафрикали дятлята, мы поняли: дупло-то сквозное, и, конечно, она спустилась к птенцам.



Замолк один, другой птенец. Остальные кричат. Всем еды не хватило.

Дятлиха высунула клюватую голову в дыру и совсем уже не в ту, в которую влетела. Удивленно, боком она глянула на нас: «Вы еще здесь? Ну и любопытные! Мне ведь кормить ребятишек надо. Уходите, уходите!»

И мы пошли. Дятлиха выпорхнула из дупла, полетела в лес. Вскоре там послышался стук и треск. Мать долбила старый кедр, искала личинки насекомых. Она работала быстро, крепко, аж труха и клочья коры разлетались в стороны и сыпались вниз. А в пихтовом дупле кричали ее ребятишки-дятлята: просили есть и ничего не боялись.

СРЕДИ ЛАГЕРЯ

Весь день лил дождь. Мы вымокли до нитки и устали до того, что не могли уже идти. Кое-как «дотянули» стадо до осека — загона для скота, сделанного из березника, с трудом водворили бычков и телок в этот осек, а сами в небольшом леске начали разбивать лагерь.



Одни ребятишки ставили палатки, другие привязывали на арканы лошадей, разводили огонь, готовили еду, сушились.

Я пошел наломать пихтовых лап — под палатку. Неожиданно что-то фыркнуло у моих ног так, что я вдрогнул. Я увидел птицу, улетающую в кусты.

Это была рябчиха.

Я наклонился и увидел возле валежины, затянутой мохом и брусничником, гнездо. В нем яички. Я пересчитал их — двенадцать штук. Будет очень крупный и редкий выводок. Чаще рябчиха кладет семь-восемь яиц.

Лил дождь в сухое, согретое рябчихой, гнездо. Я вернулся к костру, предупредил ребят, чтобы они нечаянно не раздавили гнездо.

Рябчиха, фыркая крыльями, перелетала в кустах, но мы ее не видели. Очень осторожная птица — рябчик. И окраска у нее такая, что на дереве или на земле не вдруг заметишь.

Охотник и знаток природы, учитель, возглавлявший нашу компанию, огорченно сказал:

— Если яйца остынут — не вывести ей птенцов.

— Что же делать?

Уже спустились сумерки. Переносить лагерь в другое место мы не могли — устали. Да и лошадям здесь хорошо — трава еще не выбита и ветер тише в лесу.

— Ладно, — подумав, решил учитель. — Пусть остается все как есть. Я уверен, что рябчиха не даст остыть гнезду. Всем быстро ужинать и ложиться.

Утром, как только мы проснулись, первый вопрос дежурному:

— Ну, что там?

— Вернулась на гнездо рябая. Только утихло в лагере, она и прибежала по земле. С гнезда больше не сходит. Я сфотографировал ее на память.

К утру распогодилось. Дождь уже не шел, но с деревьев капало, и дым от костра расползался меж стволов и по кустам. Один по одному мы все сходили посмотреть на рябчиху. Она, окаменев, сидела на гнезде. Брусничный лист вокруг гнезда был ощипан весь, и трава ощипана.

А лес над гнездом мокрый, чахлый и тихий — ни корма в нем, ни звука. Глухой уголок выбрала рябчиха для своего гнезда.

Голодно, сыро было птице. Мокрыми крыльями она прикрывала гнездо. И вся она была мокрая, худенькая. В круглых, немигающих глазах ее метался беспокойный свет, и только по нему можно было угадать, как ей страшно. Нас, людей, пуще всего боялась рябчиха, боялась лошади, что привязана рядом, боялась огня, который горел неподалеку, шума, гама. Но с гнезда она не могла сойти. Яйца остынут, потомства не будет. Вторую кладку ей уже не сделать — поздно. А как ей жить без детей? Без детей птице нельзя.

— Довольно глазеть! — крикнул учитель. — Уходим!

Мы свернули палатки, увели лошадей из леска, выгнали скот. Ребятишки быстро промчали телят мимо леса, чтобы не забрела глупая скотина к гнезду рябчихи.

А она сидела все так же неподвижно за рыхлой валежиной, на гнезде. Мерцающими глазами птица провожала нас. Исхудалым, но теплым телом она пробуждала к жизни будущих своих детей.

ПТИЧКА В ПЕЧКЕ

Вот и вершина Кваркуш! На хребте его то там, то тут угрюмо чернеют темные осыпи с белыми прожилками вечных снегов. Здесь горная тундра. На ней седые мхи — ягели, ползучий тальник да сплетения карликовых березок. Здесь воздух так прозрачен, так легок и прохладен, что дышится легко и видится далеко-далеко.



А на западном склоне Кваркуша, по соседству с тундрой, полыхают цветами уральские альпийские луга. Море, нет, океан цветов! И над всем этим молчаливым и ярким миром белых снегов, черных сопок, цветущих лугов стоит извечная тишина, мирный покой. Здесь рождаются птицы и реки.

На лугах, прямо в траве, под кустами, под рухнувшими деревьями — гнезда, гнезда, гнезда. Под приникшей к земле елью сразу три гнезда овсянок — маленьких, беспокойных птичек.

Из вырубленных лесов, от шума заводов, железных дорог и аэродромов птицы постепенно уходят в дикие, нехоженые края и здесь выводят потомство.

На одной поляне стоит сколоченный из досок острокрыший шалашик. В нем раньше жили пастухи, а потом перекочевали на другую поляну, где построили себе избушку.

Любопытный народ мальчишки! Распахнули дверь дощатого шалашка, смотрят. И мы, взрослые, тоже увязались за ребятами, тоже глазеем: чего оно там такое? А в шалашке пусто. Стены да печка чугунная без трубы. Унесли пастухи с собой трубу, а печку оставили. Тяжелая печка, неуклюжая. Вокруг печки проросла трава ползунец, тянется усиками к свету, к отверстию в крыше.

Вдруг из печки в патрубок серой искрой мелькнула птичка, сполошно вскрикнула и вылетела наружу.

— Цыв! Цыв! — цивиркает на крыше, суетится, беспокоится птичка. Где-то здесь, в шалашке, у нее гнездышко. А где? Стали искать. Серенькая трясогузка бьется над крышей, трепещет мотыльком, цивиркает: «Ой, найдут! Ой, найдут!»

— Да вот же оно! — изумленно сказал один мальчишка, заглядывая в печку. Мы тоже заглянули в печку и ахнули. Кругленькое гнездышко, свитое из сухой травы, лосиной шерсти, подбитое пушком, лежало в уголке печки, на холодной, спрессовавшейся золе. В гнездышке голубенькие яички, штук девять.

— Ну и ну! Ловко! — сказал кто-то.

— Это что! — начал рассказывать один из бывалых мальчишек. — Вон в прошлом году, когда мы пришли на поляны, то в нашей избушке ястребиха снесла яйца на угловике, прямо на досках, шесть штук. Ну, те мы разбили, чтобы хищники — тетеревятники не выросли. А эта маленькая, но сообразительная!

Мы уважительно посмотрели на серенькую птаху. Она не выдержала, залетела в шалаш, села на перекладинку и, кивая длинным хвостиком, робко просила нас уйти: «Цивирк! Цивирк! Ну, посмотрели, мол, и хватит. Ах, люди, люди, от вас даже в печке не спрячешься!»

Прикрываем дверь шалашка. Смотрим в щель. Тресогузка слетает на патрубок, оглядывается недоверчиво и ныряет в печку. Повозилась там, успокоенно уронила свое «цивирк!», все, дескать, в порядке, и затихла.

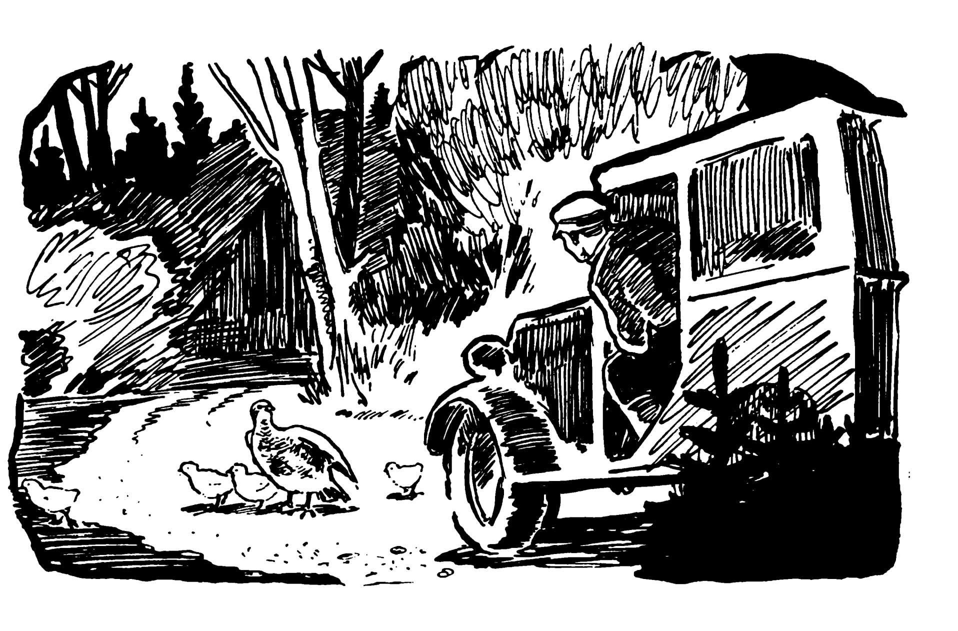
На цыпочках уходим от шалашка.

Больше мы не вспугнем тебя, трясогузка! Ты маленькая, но умная и осторожная птичка. До твоего гнезда не доберется ни сова, ни хищный зверек, ни ястреб. И у тебя обязательно будут девять маленьких птенчиков — девять сереньких, таких же, как ты, трясогузок, с черными шапочками на головках.

КУРОПАТКА И МАШИНА

Мы с товарищем ехали из села Верх-Язьва к старинному уральскому городу — Соликамску. Ехали на вездеходе по лесной дороге. Нас убаюкало, мы даже уснули на неудобных, продавленных сиденьях.

Вдруг взвизгнули тормоза, машина резко остановилась, и мы упали с сиденья.



— Что случилось? Что? — спросонья, бестолково спрашивали мы у шофера.

Шофер молча указал вперед.

Через дорогу переводила выводок цыплят куропатка, и, как на грех, в это время вынырнула из-за поворота машина. Мать куропатка повернулась грудью к машине, загораживая собою цыпляток. Перья вздыбились на ее голове. Вся она взъерошилась, и видно было, как судорожно бьется ее горло. Она квохтала. Наверное, она просила подождать или предупреждала, что в случае чего кинется в драку — защищать желтых цыплят.

А они, эти цыплята, кругленькие, пушистые, чивкая, перебегали дорогу, скатывались в кювет и растворялись в болотце, подернутом камышом, трилистом и травой осокою. Они исчезали на глазах, как будто были не цыплята, а огоньки, которые, коснувшись сырого болотца, гасли.

Цыпляток было штук одиннадцать. И пока не перебежал дорогу последний, пока не спрятался в траве — все стояла куропатка с грозно взъерошенными перьями. И мне казалось: она защищает сейчас не только детей своих, а весь лес, всю землю и все живое на этой земле.

Глухо работал мотор машины. Шофер ждал. Наконец куропатка обернулась, увидела, что ни одного цыпленка не осталось на дороге, сама сошла в кювет, шевельнула осоку и скрылась в ней.

УХОДИЛО СОЛНЦЕ В ЖУРАВЛИХУ,
СПАТЬ ЛОЖИЛОСЬ В ДАЛЬНИЕ КУСТЫ.

Владимир Солоухин



Разные истории



ДЯДЯ КУЗЯ—КУРИНЫЙ НАЧАЛЬНИК

Знакомство с дядей Кузей

На краю села новый длинный дом. Замело его сугробами так, что окна едва видны. Искристый снег толстым слоем лежит на крыше, свисая крутыми валами по краям.

Тишина кругом. Лес за деревней не шелохнется. Его тоже занесло снегом. Лишь лохматая ель среди поляны стоит, пошевеливая ветвями. Со всех сторон ее обдувают, треплют ветры.

Прилетит иной раз ворона, сядет на вершину ели, нахохлится, задумается. Зима. Стужа. Заснуло все вокруг.

И только в длинном доме с утра и до вечера шумно и хлопотно.

В этом доме колхозная птицеферма. Заведует фермой старый колхозник — дядя Кузя. Вот он шагает рядом со мной

в подшитых валенках, в полушубке, перетянутом туго-натуго солдатским ремнем. Лицо у дяди Кузи маленькое, морщинистое. А на лице пышные, желтоватые от трубки усы. Волосы его торчат ершистыми вихрами из-под рыжей, неизвестно из какого зверя сшитой шапчонки. А на висках они чуть вьются, образуя совершенно ненужные дяде Кузе бакенбарды. При всей такой растительности под шапкой у старика плешина. Ну не смех ли? Где не надо — волосы, что дикие заросли, а голова — как куриное яйцо.

Дядя Кузя уже заслужил себе покой и пенсию, но все еще работает в колхозе. Без работы, как он сам говорит, ему тошно жить.

Сыновья и дочери дяди Кузи разлетелись по свету, старуху он схоронил в позапрошлом году и перебрался жить на птичник.

В то время здание птицефермы было еще старое, маленькое, запущенное. Как дядя Кузя ездил в город, требовал, ругался, писал жалобы — долго рассказывать. Своего дядя Кузя таки добился. Колхозные куры вот уже второй год живут в просторном и теплом помещении. Живут и не подозревают, что дядя Кузя из-за них испортил кровь не одному начальнику.

Вот и птицеферма. Дядя Кузя обметает голиком валенки, открывает передо мной дверь.

Служебное помещение, иначе говоря кормокухня, куда мы вошли, была в середине дома. В кухне горело электричество, стены были побелены. По углам стояли бочки и ящики с овсом, картофелем, речной галькой, жжеными костями и мелом. Посредине просторной комнаты широкая плита, а за ней, в углу, кровать, заправленная стеганым одеялом. Рядом с кроватью стол. К ножкам его приколочены тоненькие планки. Приколочены с таким расчетом, чтобы куры могли просовывать головы в щели. В этом сооружении дремали три курицы. Одна из них бессильно уронила голову. Дядя Кузя тронул ее пальцем.

— Ну, как ты тут, болезная? — спросил он и пояснил мне: — Госпиталь под столом-то. — Старик сокрушенно покачал головой. — Болеет птица, каждую зиму болеет. Нет того корму, что по науке полагается. Придется мне опять за удочку браться и корм добывать.

Я с недоумением взглянул на дядю Кузю: «При чем тут удочки?»

— Вы раздевайтесь, раздевайтесь. Тут у нас тепло. Я сей-

час чаишко поставлю. А насчет удочек? Тут целая потеха. Хоть смейся, хоть плачь.

Старик вынул из-за печки ведро и обратился ко мне:

— Иду свою публику кормить. Ежели интересуетесь, милости прошу.

Он зачерпнул из бочки полное ведро овса и шагнул из кормокухни в левую половину птичника. Что тут сделалось! Со всех сторон с громким кудахтаньем полетели к нему куры. А одна курица, с темным кольцом на шее, уселась на плечо дяди Кузи.

Старик горстью разбрасывал подле себя овес, и куры кружились белым водоворотом. Шум, хлопанье крыльев, властные окрики петухов...

Дядя Кузя вытряхнул последнюю горсть овса, отошел в сторону, и по полу рассыпался дробный перестук. Птицы успокоились и сосредоточенно, проворно работали клювами. Только курица с темным колечком на шее не слетала с плеча дяди Кузи. Она даже умудрялась дремать, поджав лапки.

Пока я знакомился с птичником; дядя Кузя успел осмотреть ящики, прибитые вдоль стен, и набрать с десяток яиц.

— Начинают нестись курчонки, — с удовольствием отметил он. — Нынче пораньше начинают. Вот мы эти первые-то яички в детсад, ребятишкам. Ешь глазунью, сорванцы, наводи тело!

Мы вернулись на кормокухню. Курица, сидевшая на плече у дяди Кузи, слетела, ловко прыгнула в бочку с овсом. Там она неторопливо ощипалась и начала с выбором клевать овес.

— Скажи на милость, какая единоличница! — удивлялся я.

— О-о, эта курица с ба-альшим характером! — протянул дядя Кузя. Он спустил четыре вымытых яйца в котелок и поставил его на огонь.

Будто прислушиваясь к нашему разговору, курица перестала клевать и склонила голову набок.

— Про тебя, про тебя говорю, Касатушка, — кивнул ей головой дядя Кузя и, повернувшись ко мне, с гордостью добавил: — Между прочим, она льготами пользуется не зря — исправно несется и балобана помогла победить. Да, да, вот эта самая курица заполонила ворюгу-балобана. Вижу, не верите. Я вам расскажу потом про такое, чему не всякий поверит. Вы думаете, ферма — это курочки да яички. Не-ет!

Здесь, кроме всего прочего, тоже всяких приключений множество и, ежели хотите, есть даже борьба!

Дядя Кузя многозначительно поднял палец и хотел уже продолжать, но откуда-то из-за бочек и мешков вылез черный кот с обкусанным ухом, зелеными глазищами и, аппетитно зевнув, потянулся.

— Взять хотя бы этого кота. Думаете, так себе, обыкновенный кот, ухо драное, морда сонная? А он, может, много тысяч колхозных денег спас и неусыпно несет службу. Удивляетесь? — перехватил мой взгляд дядя Кузя. — Тут вокруг птичника и в самом птичнике много разного ворья: ястребы, хорьки, крысы, лиса опять же. Куры летом как сквозь землю проваливаются. Гляди и гляди за ними.

Касатка выпрыгнула из бочки, оставив на золотистом овсе крупное, продолговатое яйцо. Не торопясь подошла к двери птичника и остановилась, выжидая.

Дядя Кузя открыл дверь и, выпуская Касатку к другим курам, добавил:

— Как я лису обманул, не слышали? О-о, было делов! Ладно, что я старый солдат-партизан и обучен всяким хитростям, а то она, змея рыжая, до се кур со двора таскала бы. Одним словом, подвигайтеся к столу, попотчую я вас чем бог послал, и тогда поговорим.

И дядя Кузя рассказал мне множество историй. Некоторые из них так понравились мне, что я решил пересказать их вам.

Дядя Кузя побеждает балобана

Был солнечный весенний день. На свежей травке возле крайнего деревенского дома кормились куры. Они рыли землю лапами, что-то отыскивали, клевали, а иные сидели просто так, млея от тепла и сытости. Вдруг с неба камнем упал балобан и бросился за дородной курицей с темным колечком на шее и золотистыми перьями в хвосте. Хохлатка юркнула в подворотню. Но балобан настиг ее, вцепился в спину. Половина курицы оказалась по ту сторону ворот, половина — по эту.

Как раз в это время мимо дома шел дядя Кузя. Увидев, что балобан когтит курицу, он ахнул от удивления. Ведь балобаны, как известно было дяде Кузе, питаются только грызунами.

Дядя Кузя подскочил к воротам и пнул балобана так, что тот тряпичным мячом отлетел в сторону. Глаза у хищника сверкали, клюв был в крови, в когтях пошевеливались яркие перья, выдранные из хвоста курицы.

Дядя Кузя погнался за балобаном, но тот медленно, как будто нехотя, взмахнул своими почти полуметровыми крыльями и поднялся с земли.

И тут дядя Кузя заметил, что одна нога у балобана торчит в сторону.

— Ах ты, ворюга! — закричал старик. — Бандит ты! Колчаковец! Тебе уж ногу за кур переломали, а ты все одно не угомонился... — И вдруг он шлепнул себя ладонью по лбу: — Стой! Он и моих кур, небось, жрет?! Ну, погоди! Ну, погоди!

Это «Ну, погоди!» дядя Кузя повторял много раз, сначала грозно, потом задумчиво, а под конец вяло и растерянно.

В самом деле, что он мог сделать с птицей, которая отведала курятинки, поняла, что она вкуснее каких-то там сусликов или мышей, и прикормилась возле фермы?

Ружья у дяди Кузи не было. Вольеру — забор из проволочной сетки — возле птичника не сделали. Глупые куры разбредались в разные стороны и не успевали добегать до фермы, если на них бросался коршун или какая другая хищная птица.

Дядя Кузя зашел в крайний двор и попросил раненую курицу у хозяйки:

— Может, выхожу ее, подлечу, а то будет маяться.

— Бери, — в отчаяньи махнула рукой хозяйка. — Все равно пропадет. Спасенья нет от этого балобана, третье лето разбойничает, проклятый, возле нашего двора. Я уж его както косой подрубила.

«Вон, оказывается, отчего у него лапа-то клюкой сделалась», — думал дядя Кузя и, поглаживая курицу, наговаривал:

— Касатка, касатушка... Обидел тебя враг, поранил. Ну, погоди, попадется он нам!

Вернувшись на ферму, дядя Кузя вытащил из ранок птицы пух, изломанные перья и смазал ранки жиром.

На «госпитальном положении» Касатка пробыла месяц и выздоровела. За это время она успела прижиться на птичнике и так привязалась к старику, что пришла к нему на ферму обратно после того, как дядя Кузя вернул ее хозяйке.

Старик вел с курицей «душевные» разговоры, кормил и холил ее. Благодаря особому догляду и заботам дяди Кузи

Касатка сделалась грузной, степенной и красивой птицей. Может быть, из-за этого, а может, потому, что Касатка была приметной, балобан снова выследил ее и бросился, чтобы поймать. Она отлетела в сторону и помчалась в раскрытую дверь птицефермы. Белый вихрь кур метнулся за ней.

Балобан оказался не только злым, но и упрямым хищником. Он влетел в дверь, промелькнул мимо опешившего дяди Кузи. Затравленная Касатка бегала по просторному птичнику вокруг печки, спасаясь от балобана. С криком и бранью ринулся дядя Кузя на балобана. Тот издал тревожный крик и тенью выскользнул в распахнутую дверь. Дядя Кузя за ним. Да разве птицу догонишь!

— Чтоб тебе ни дна ни покрышки! — грозил дядя Кузя балобану кулаком. — Чтоб тебе кость куричья поперек горла стала, чтоб ты околел!

Обругав балобана, дядя Кузя напустился на самого себя:

— А ты, плешивый идол, чего думал? С метелочкой побежал... Размахался, а дверь-то не закрыл. Вот тебе, полоротый! — При этом дядя Кузя сложил дулю и поднес к собственному носу.

Касатка уже не решалась отходить далеко от птичника. Но и здесь, у самой птицефермы, в третий раз высмотрел ее упрямый балобан.

Дядя Кузя в это время был возле речки, протекавшей метрах в ста от птицефермы. Заслышав шум в птичнике, он схватил черемуховую палку и побежал что есть силы. На этот раз он не забыл захлопнуть дверь. Кривоногий балобан этого не заметил, он гонялся за Касаткой.

— Лиходей! — закричал дядя Кузя и помчался за балобаном. Тот вильнул вправо, влево, ринулся за печь, к дверям. — Попа-а-ался! Попа-а-ался! — лютовал дядя Кузя. — Я те угощу! Я те попотчую курятинкой!..

Голос старика прерывался. А куры, охваченные паникой, летали, кудахтали, хлопали крыльями, бились об окна и стены. Вот одна из них подвернулась на пути осатаневшего балобана и потащила за собой кровавый след. Хищник успел рвануть ее когтями.

— Убью! Изничтожу! — закричал дядя Кузя и швырнул палку.

Палка хоть и не задела балобана, но оказалась пострашнее угроз и криков. Балобан сложил крылья и тугим клином ударился в окошко, но угодил не в стекло, а в переплет рамы. Как резиновый, отскочил он, очумело затряс головой и упал.

С пола подняться ему уже не удалось. Дядя Кузя схватил палку и начал молотить хищника. Потом дрожащими руками взял мертвого балобана за крыло, отнес к реке и повесил на черемуху. Это для острастки, чтобы и другим разбойникам неповадно было за курами охотиться.

Как дядя Кузя лису перехитрил

Лиса повадилась таскать курочек еще от старого здания птицефермы, которое стояло ближе к лесу и речке.

Дядя Кузя долго ничего не подозревал. Летом пересчитать кур невозможно: некоторые из них ночевать оставались на улице.

Однажды старик отправился в лес наломать веник. Под пихтой он увидел белые перья, свежую кровь и лапку курицы, а на сучке валежины заметил клок шерсти, рыжей, с проседью. Взял старик шерстку в руки, помял в пальцах, подумал и сказал:

— Так-так, значит, кумушка здесь промышляет.—И вздохнул. — Ну, эту не вдруг изловишь, это не балобан. Старая, умная лиса прикормилась...

Дядя Кузя не ошибся. Лиса в самом деле охотилась очень осторожно. К капканам, поставленным дядей Кузей, она не подходила. Лишь иногда рано утром дядя Кузя замечал лису на опушке леса или на поляне, возле стога сена, приметанного к ели.

Речка вытекала из леса. Она заросла черемушником, кустами смородины и тальника. Лучшего подхода для лисы к птицеферме нельзя было и придумать. Лиса бесшумной змейкой подкрадывалась к глупым молодкам и брала тех, которые отбивались от стаи.

Зимой началось строительство нового здания. Лиса боялась стука топоров, голосов людей и не подходила к птичнику. За это время исчезло несколько кур из дворов колхозников. Но попробуй узнай, кто их стащил, если вокруг деревни живет, кроме лисы, множество всяких других хищников, любящих курятинку.

К весне новое здание птицефермы было готово, старое разломали, и вскоре на его месте выросла лебеда, крапива, лопухи. Молодые куры неслись в густых и уютных, с куриной точки зрения, зарослях. Дядя Кузя проклинал все на свете, с кряхтеньем собирал яйца в колючем бурьяне.

Зато молодки совсем перестали ходить к лесу. Им нравилось сидеть в бурьяне, хлопать крыльями, загребать лапами рыхлую землю. Словом, наступило для лисы голодное время.

Томилась кумушка, томилась и все-таки выбралась из поймы речки, видно, изголодалась вовсе. Охотиться она стала нахально, отбросив всякие свои лисьи увертки. От бурьяна к речке тянулась теперь уже не одна полоска белых перьев.

Как-то раз лиса на глазах у дяди Кузи схватила петуха, спустившегося к речке напиться, и унесла в кусты.

Дядя Кузя хлопал себя по бедрам, ругался, плевался, грозил кулаком вслед лисице и в сторону правления колхоза, которое не построило вольеру из проволоки. Правленцы заявили: не все, мол, сразу. Пусть дядя Кузя будет доволен пока и тем, что новый птичник соорудили.

Дядя Кузя отводил душу, ругая лису:

— Поймаю, шапку сошью из тебя, ведьма рыжая!

Но прошло лето, потом осень, наступила зима, и куры стали, по выражению дяди Кузи, жить дома, а лиса, целая и невредимая, бродила на воле, кружилась возле птичника по мягкому снегу. Манил кумушку запах курятинки. Но, как говорится: «Видит кошка молоко, да рыльце коротко!»

Лиса даже тявкала — от досады должно быть, с тоской глядела на птичник.

Дядя Кузя наблюдал за рыжей гостьей, с ехидцей кричал в окно:

— Ну, что облизываешься? Облизывайся, облизывайся, голубушка, пока на воле. Все равно скоро на моей голове будешь.

Старик кричал так, для успокоения души. Он уже испробовал все ловушки, взял даже ружье в деревне, но подстрелить лису не мог.

Вот она, шапка, прыгает возле столба, мышей ловит, а попробуй надень ее на голову!

Зимой на птицеферме заболели две курицы. Дядя Кузя напоил их рыбьим жиром, но было уже поздно. Однажды ночью обе курицы околели. Ветеринар вскрыл желудки птиц, и дядя Кузя вытаращил глаза: в желудке одной курицы оказалось два гвоздя длиной почти с безымянный палец, а у другой — тоже гвоздь и копеечная монета.

Вот эти-то куры и сослужили службу старику.

Рано утром дядя Кузя дал корму птицам, открыл окна, чтобы проветрить помещение, и увидел лису. Она сидела возле столба и слушала, как бойко постукивают клювами куры.

— Сидишь? — спросил дядя Кузя. — Ну, посиди, посиди, поглотай слюнки. Врешь ведь, не выдержишь, когда-нибудь поближе подойдешь... Стоп! — вскрикнул дядя Кузя так, что лиса обеспокоенно вскочила и поспешила к речке. Смекнул что-то дядя Кузя, довольнехонько потер руки и рассмеялся с ликованием: — Охмурю я тебя, охмурю! Будешь ты на шапке, кумушка-голубушка!..

Эту шапку старик видел и во сне и наяву. Он даже иногда ощущал ее на голове, мягкую, теплую, рыжую и, самое главное, из той самой лисы, которая, по заверениям дяди Кузи, «выпила из него всю кровь, отняла полжизни и выудила из колхозной кассы мильен рублей».

Дядя Кузя побежал в деревню, обошел почти все дома. Наконец в одной избе он выпросил моток белой рыбацкой жилки.

Люди разводили руками, посмеивались над дядей Кузей. Чего, мол, это вздумалось человеку рыбачить на старости лет, да еще зимой. Дядя Кузя никому ничего не объяснял, только возбужденно наговаривал, привязывая жилку к лапке одной из мертвых куриц:

— И буду рыбачить, да еще как рыбачить! Шапку поймаю — во!

Мертвых кур дядя Кузя отнес к столбу, положил в сухой, потрескивающий на ветру репейник. Жилку он размотал и один конец протянул через окно в птичник.

Лиса, видимо, почуяла что-то неладное и дня два совсем не показывалась.

Но вот следы человека засыпало снегом, и дядя Кузя увидел кумушку. Она бойко бегала у ручья, водила носом, однако приблизиться к столбу не решалась. На следующий день лиса снова выбежала на поляну: играла лапками, помахивала хвостищем, прыгала, зарывалась носом в снег, вынимала оттуда мышек. Но что значит мышка или даже десяток мышей для такой старой, прожорливой лисы? Вон как у нее живот подвело!

— Подойдешь, подойдешь, не вытерпишь! — дрожа от нетерпения, шептал дядя Кузя, наблюдая за лисицей.

И все-таки лисице удалось незаметно стащить мертвую курицу — ту, что лежала чуть подальше столба. Но старик не особенно досадовал на это, скорее даже обрадовался.

— Ага, клюнула! Попробовала кумушка курятинки! Идет дело. Скоро будет у меня шапка! — С этими словами дядя

Кузя взял жилку и подтянул вторую курицу метра на четыре ближе к птицеферме.

Лиса, очевидно, заметила это, затаилась в кустах, смотрела, принюхивалась. Человеческих следов нет, как же тогда курица переметнулась с одного места на другое? Что за оказия? Так, должно быть, думала озадаченная кумушка.

А ветер пошевеливал перья курицы, и это раздражало лису. Она не могла долго выдержать, стала приближаться к мертвой птице. Она кружила по поляне, ныряла в мышиные норки, убегала в кусты и снова появлялась.

Прошло уже четыре дня с тех пор, как дядя Кузя положил приманку. Близко она лежала, дразнила лисицу. Кумушка беспокойно шныряла по бурьяну, репьев в шерсть нацепляла, не успевала зубами их вынимать.

Вот снова она явилась на поляну. Подкралась к столбу и опрометью обратно. Так целое утро, словно забавляясь, прыгала туда-сюда лисица, хитрила. Дядя Кузя наблюдал этот спектакль, посмеивался, бегая от окна к окну.

Ночью он подтянул приманку еще ближе.

Лиса нервничала и беспокоилась все заметней. Она даже перестала мышковать вблизи птицефермы. Дядя Кузя вел ее как привязанную, вел на ниточке. Вот уже метров на семьдесят подвел. Но глаз у дяди Кузи не молодой, ружьишко худенькое, из него надо бить близко и наверняка.

Прошел еще день. Лиса измучилась, но и дядя Кузя выглядел неважно. Он мало спал ночами, совсем лишился аппетита.

Можно было только дивиться — откуда взялось у такого суетливого старика столько терпения! Шапка, должно быть, шапка была всему причиной. Наконец-то подтянул дядя Кузя мертвую птицу метров на сорок и оставил.

Заряженное ружье стоит в углу. Из рамы вынуто одно звено стекла. Дядя Кузя между делом наблюдает за крадущейся лисой.

Плотно приникая к снегу, прячась за бугорки, выползла наконец она из бурьяна, огляделась, а потом подбежала к мертвой курице, цап ее — и назад. Но щелкнул в морозном воздухе выстрел, и сунулась лисица седым носом в снег, будто за мышкой. Подергала ногами, выронила из зубов мерзлую курицу, вытянулась, затихла.

А от птичника торопился дядя Кузя в одной рубахе, без шапки. Он черпал снег голенищами валенок и прерывающимся голосом выкрикивал:

— Ага-а-а! Попа-лась, которая куса-лась! Сколько вор ни ворует... Попила кровушки! Шапка! Шапочка!.. Зря говорить не стану!..

Так дядя Кузя перехитрил лису, а я узнал, откуда у старика рыжая шапка. Сшил он ее собственноручно. Шапка получилась не очень модная, но все-таки дороже всех шапок она старику. Мех-то для нее он сам добыл.

Дядя Кузя — десятник, рыбак и еще изобретатель

При знакомстве дядя Кузя заявил, что на ферме случается множество всяких приключений. Однако не из одних же приключений жизнь состоит, правда?

Главное-то в жизни не приключения, а труд. А уж чего-чего, но работы у дяди Кузи хватало и хватает.

Сколько хлопот, к примеру, было, когда новый птичник в колхозе сооружали!

Строила новое здание бродячая артель плотников. Вроде бы дядя Кузя тут ни при чем, но ему до всего дело, за всем он должен уследить, потому как человек он непоседливый. А тут еще и плотники подрядились непутевые.

За три недели они сделали сруб, расчистили площадку и наладились было уже помещение «на мох ставить». А «на мох ставить» — это значит собирать заготовленный дом.

Пришел однажды дядя Кузя к срубу, долго оглядывал его со всех сторон и вдруг зашумел:

— Вы что же это, мошенники, делаете, а?

— Чего обзываешься, старик?

— Обзываюсь?! Да я лупить вас скоро начну за такую работу! — гремел дядя Кузя, наступая на бригадира.

— Кто ты такой? Что за указчик?

— Не указчик, а заведующий фермой, — отчеканил дядя Кузя, — этой самой фермой, которую вы ладите и которую я у вас не приму!

— Ты вот что! Ты эти штуки брось! Видали мы таких! Ишь, на бабью должность затесался и еще задается...

— Я-а! На бабью!.. — задохнулся дядя Кузя. — Я-а, на бабью!..

И пошел старик честить плотников, и пошел. Плотники сперва только посмеивались, но, когда дядя Кузя пригрозил пожаловаться товарищу Красногрибову, струсили. Товарищ

Красногрибов — районный финансовый инспектор — был грозой всех спекулянтов и разных там любителей даровых денег.

— Ну уж ладно, ладно, переделаем, все переделаем: и пазы углубим у бревен, и стойки другие поставим, по норме, и моху еще подвезем.

С этого дня плотники стали делать все так, как хотел и как велел старик. Были они с ним очень обходительны, любезны и льстиво называли его десятником.

Придут, бывало, утром на работу, сядут покурить и скажут:

— А где же это десятник-то наш? Неужто проспал?

— Здесь я, здесь, — отзывался дядя Кузя из сруба и вылезал в окно, весь в стружках и клочьях моха, — это он раньше всех явился и все проверил.

— Как работа? — спросят плотники.

— А чего — как? — невозмутимо ответит дядя Кузя. — Коли немножко похуже, так и было б в самый раз. Глаз да глаз за вами нужон.

И так вот до самой весны, покуда не было закончено строительство, ходил дядя Кузя в должности десятника, но зато уж помещение птицефермы получилось на славу: теплое, светлое, просторное. А плотники, получая расчет за работу, жаловались председателю:

— Ну, брат, давненько мы такого тяжелого строительства не производили, давненько...

Дядя Кузя находился в это время здесь же, в бухгалтерии колхоза, и только кашлянул да хитровато переглянулся с председателем, как бы говоря: «Ну, этих мы маленько поучили честно работать».

Но застрял, как заноза, в мозгу дяди Кузи упрек плотников, что он бабью работу исполняет. Прямо за самое нутро задело это старика. Начнет дядя Кузя топором орудовать — корытце там новое сколотит, или подправит ящички, или дрова колоть возьмется, и приговаривает:

— Вот те и бабья! Вот те и бабья! Пусть какая-нибудь баба так сделает.

Но все это не успокаивало дядю Кузю. И тут пришло ему в голову такое, чему вся деревня поразилась.

Яйца дядя Кузя собирал в ведро. На других фермах, где в основном работали женщины, яйца тоже собирали в ведра, и никого это особенно не беспокоило — было бы что собирать.

Однако дядя Кузя решил это дело механизировать и при-

нялся сооружать автояцейсборочный агрегат. Он сыскал в кузнице четыре небольших железных колеса, приделал к ним оси, а затем связал их рамой. На рамы поставил два квадратных ящика и разбил их на ячейки так, что ящики стали походить на пчелиные соты. В каждый такой сот по расчету дяди Кузи нужно было класть яйцо.

Куры в птичнике сначала испуганно разлетались при виде агрегата, который скрипел, позвякивал и трещал на ходу, но дядя Кузя смазал свое сооружение дегтем, и куры скоро привыкли, перестали шарахаться.

Приходили люди глядеть, хвалили старика.

Дядя Кузя, млея от удовольствия, набивался с одним и тем же вопросом:

— Ну скажи ты, добрый человек, какая женщина может такую вещь смастерить или даже выдумать?

Потакая честолюбию старика, люди говорили:

— Да где там женщине! И мужику-то не всякому подсильно такое. Тут должна мысль работать в особом направлении.

— Вот то-то и оно, — удовлетворенно подхватывал дядя Кузя. — А иные люди говорят...

Но кто эти иные и что они говорят, дядя Кузя не разъяснял.

В последнее время дядя Кузя занялся рыбалкой. Никогда односельчане не замечали за ним пристрастия к рыбной ловле, а тут на тебе — все свободное время пропадает старик на льду и подергивает коротенькую, ровно бы игрушечную удочку.

— В детство ударился старик, — заключил председатель колхоза, узнав об этом. — Надо будет замену ему подыскать, а то он всю птицеферму проудит.

Но зря такое говорил председатель, зря. Именно из-за птицефермы и сделался дядя Кузя рыбаком. Услышал он однажды по радио совет ветеринара скармливать больным курам сырое мясо или рыбу.

— Хорошо вам, сидя в Москве, рассуждать, кому и что скармливать, — буркнул дядя Кузя. — А где я рыбу-то возьму?

Но все-таки запали старику в голову эти советы. «Иной раз и путное по радио говорят», — рассудил дядя Кузя.

Однажды спустился он на реку. Там каждое воскресенье собирались городские рыбаки. Ни мороз, ни пурга им нипочем. Сидят себе на ящичках возле лунок, ровно колдуны.

У ног их валяются растопыренные от холода окунишки с побелевшими глазами, плотички и подлещики. И до того рыбаки закоченелые, что руками уж совсем плохо владеют.

— Это что же, братцы милые, заставляет вас такую кару переносить? — посочувствовал дядя Кузя.

— А ты попробуй, порыбачь и узнаешь, — посоветовали ему рыбаки.

«Нет, — подумал дядя Кузя, — такие страдания на себя ни за что не приму».

И все-таки попробовал.

В ту зиму куры сильно болели авитаминозом, и «госпиталь» у дяди Кузи под столом был все время переполнен. Старик выхаживал больных кур, как детей родных, и часто сокрушался, глядя на них:

— И что это за оказия в природе? Откуда эти болезни берутся? Кура — самая безвредная птица и тоже страдает.

И решил дядя Кузя, что уж лучше самому страдать, чем смотреть, как мучаются беззащитные птицы.

Жилка у него осталась еще от охоты на лисицу. Палочку он вырезал в лесу, а блесенок ему дали городские рыбаки. И пошла работа. Каждый свободный час дядя Кузя выбегал на лед. Выдернет десяток-другой рыбешек — и на ферму. Куры их моментом склюют и тянут головы из-за планок стола — еще просят. На глазах поправлялись и веселели больные куры, некоторые стали даже ходить, прихрамывая, правда, но все-таки ходили.

Как-то раз пришел председатель и не застал на месте дядю Кузю. Глянул в окно — старик на реке.

— Ну и ну, ослабоумел, видно, старик. Рыбку удит!

Придирчиво осмотрел председатель птичье хозяйство. Никакого запустения нет, все как будто в порядке.

Но председатель решил все-таки дождаться старика и сделать ему внушение. Куда это годится: старый человек, при должности, и на тебе — пустяками занялся.

Но когда узнал председатель, зачем мерзнет на льду дядя Кузя, отпала у него охота совестить старика. Он только глянул на дядю Кузю и сказал:

— Радетель ты колхозного добра, Кузьма Варфоломеевич, большой радетель. Вот если бы все такие были, так наш колхоз давно миллионером бы стал.

Дядя Кузя сконфузился от таких слов, засуетился, а председатель задумался и добавил:

— Однако рыбу удить тебе не след. Простудишься, захво-

раешь. Завтра выпишу со склада мяса для твоего госпиталя. А удочку брось.

С тех пор выдают для птичника сырое мясо, и даже тресковое филе как-то в магазине закупали. Куры на птицеферме теперь болеют меньше. Раньше болели десятками, а теперь всего одна или две за зиму. Но рыбалку дядя Кузя забросить уже не в силах. Тайком-тишком, конфузливо озираясь, раненько утром или поближе к вечеру спустится он на речку, продолбит луночку и сидит, сидит...

Городские рыбаки иной раз посмеиваются над ним:

— Ну как, Кузьма Варфоломеевич, узнал, что такое рыбалка?

— Узнал, узнал, чтоб вам ни дна, ни покрышки, откуда вы взялись на мою голову! — ворчал дядя Кузя, а сам не спускал глаз с кончика удочки, ежился от холода и потряхивал блесенку.

Говорят, охота пуще неволи. Как видите, рыбалка — тоже.

Милаха и кот Громило

Свирепее, прожорливее и коварнее всех вредителей на птицеферме была крыса с желтоватой, точно подпаленной шерстью на спине, с коротким хвостом. Очевидно, еще во времена разгульной молодости она лишилась половины хвоста — может быть, оторвали его в драке, а может быть, в капкане оставила.

Эта крыса держала в страхе всех обитателей птичника. Мыши разбегались по сторонам, когда появлялась среди них толстая, мордастая особа. Она была грозной владычицей темного царства, которое наперекор всем законам существовало под полом. Дядя Кузя слышал иногда шум, возню под половицами. Шум этот перекрывался властным визгливым голосом. После драки по углам долго и жалобно скулили крысы.

Куцехвостую крысу дядя Кузя назвал Милахой.

Со стороны могло показаться, что отношения дяди Кузи и Милахи самые любезные и мирные. Но это лишь со стороны. На самом же деле они люто ненавидели друг друга. Милаха ненавидела дядю Кузю за то, что он подрывал ее авторитет в крысином коллективе. А дядя Кузя ненавидел грозную атаманшу за то, что вот уже много лет она вместе со своей шайкой безнаказанно грабила колхоз. Шайка с каждым днем

увеличивалась, а сама Милаха становилась наглей и развязней.

Отраву крысы не трогали. Видимо, их предводительница знала, что значит эта коричневая, с виду аппетитная масса. В капканы попадали только глупые мыши. Дядя Кузя понимал, что вся беда в Милахе. Стоит лишить банду главаря, в ней начнутся разлады, и она неизбежно погибнет.

Когда дядя Кузя приходил кормить кур, вся крысиная и мышиная орда рассыпалась по углам, шмыгала в норы и затихала. Но Милаха спокойно бегала по птичнику, ела из корытцев, не обращая ни малейшего внимания на старика.

— Кушаешь? — сдавленным голосом спрашивал дядя Кузя. — Ну, кушай, кушай. Гуляй да кушай — может, и подавишься.

Милаха переставала есть, поворачивала голову на голос и злобно ощеривалась.

Старик принимался собирать яйца из ящиков и как будто ненароком подвигался с автояйцесборочным агрегатом к Милахе. Но тактика эта была настолько стара и примитивна, что крыса даже не торопилась исчезать. Когда расстояние между нею и дядей Кузей сокращалось шагов до пяти, она не спеша, нахально повиливая толстым задом, уходила в нору. Там сию же минуту раздавался жалобный писк. Милаха срывала злобу на «подчиненных» и для острастки или по каким другим соображениям кусала их.

А дядя Кузя, ударив об пол шапчонку, топал ногами, плевался, воздевал руки к потолку, призывая бога, боженят и всю небесную канцелярию или его успокоить смертью христианской, или покарать «нечистую силу».

Но вот перебрался дядя Кузя со своей беспокойной «публикой», как он называл кур и петухов, в новое здание птицефермы и облегченно вздохнул. Все! Ушел от прожорливой банды! Однако дядя Кузя поспешил успокоиться. Уже через три дня он услышал под полом беготню, резкий и, как показалось старику, озабоченный голос Милахи. Дядя Кузя чуть не заплакал от бессильной ярости.

А ночью по всему птичнику разносился треск, шорох, скрежет. Это многочисленные хищники, возглавляемые Милахой, грызли пол, копали норы, устраивались в новом помещении со всеми удобствами.

Они сильно изголодались за последние дни, да и работа оказалась тяжелая — пришлось грызть крепкие половицы и бревна. Ворвавшись в новый птичник, мыши источили овес в

бочках и ящиках, оставив вместо него мякину. Крысы загрызли насмерть несколько больных кур. А в скором времени обнаружилось, что они губят не только птицу.

Как-то вечером сходил дядя Кузя в баню, попарился и усталый, разомлевший, побрел к себе на птичник. Здесь он подстриг ножницами и причесал волосы перед кругленьким зеркальцем, выключил радио, прилег на кровать и задремал.

Разбудил его какой-то подозрительный шорох.

Дядя Кузя подумал, что это по стенам бегают мыши. Они любят выдергивать из пазов мох и делать там потайные ходы и лазейки. Но вместо мышей дядя Кузя увидел Милаху. Она торопливо забралась по стене в нижний ящик, один из тех, куда дядя Кузя выкладывал яйца из агрегата перед тем как сдать их в кладовую колхоза. Милаха обнюхала яйца и, ухватив одно из них лапами, потащила к краю.

Дядя Кузя притворился спящим: прикрыл глаза и стал даже похрапывать. Милаха осмотрелась, пошевелила седыми усами, прикинула расстояние до пола и вдруг, повернувшись, упала на спину. Удержать яйцо она не сумела и выпустила его из лап. Яйцо треснуло и разлилось.

Дядя Кузя думал, что это только и нужно крысе, но ошибся. Она что-то посображала и проворно юркнула под пол.

Через минуту атаманша появилась в сопровождении трех «подчиненных». Они легли на спины рядом, а Милаха забралась в ящик, подкатила к краю яйцо, прицелилась и сбросила его на мягкие животы крыс. Те вскочили и моментально укатили яйцо под пол.

Через минуту они вернулись, и все повторилось сначала.

Дядя Кузя не выдержал:

— Ловко в чаю плавает веревка!

Крысы бросились врассыпную, оставив на полу яйцо. Дядя Кузя взял его в руки, осмотрел и задумался. Он давно подозревал, что крысы таскают яйца, но как это они делают, ни разу не видел. Только здесь, в новом птичнике, дядя Кузя до конца распознал характеры и повадки крыс и больше уж никогда не считал баснями то, что рассказывает народ об этих умных и ловких вредителях.

Утром дядя Кузя пошел в правление колхоза, чтобы рассказать о проделках крыс. Здесь любили слушать о происшествиях на птицеферме и часто спрашивали старика:

— Ну, как там Милаха твоя поживает?

Тот всегда со смешком отвечал:

— Живет, колхозный хлеб жует, что ей?

Но в этот раз дядя Кузя был хмур и на обычный веселый вопрос отозвался без смеха:

— Она живет и не один хлеб жует.

Сообщению многие не поверили. Тогда он взорвался: раз так, больше он на этот проклятый птичник не пойдет, а пусть туда отправляется председатель. Милаха со своей компанией быстро доведет его до припадков. Уж на что он, дядя Кузя, железный человек, а нервы и у него до того расшатались, что он за себя порой не ручается. В подтверждение этого дядя Кузя так хватил дверью, что со стола бухгалтера упала чернильница.

Днем на птичник заглянул председатель колхоза. Дядя Кузя показал ему разбитое яйцо, испорченный пол, множество нор. Под конец пожаловался, что свои харчишки тоже вынужден уносить на улицу и есть мерзлый хлеб. А с его зубами и свежий не разжуешь. Председатель первый раз слышал от дяди Кузи жалобу на «личное» и поэтому изумился:

— Да это и в самом деле бедствие! — И, подумав, предложил: — Слушай, возьми хоть на время нашу Муську, она, правда, ленива, но, говорят, крысы, а особенно мыши, кошачьего запаха боятся.

Председателева кошка Муська оказалась не только ленивой, но и трусливой. Она не выдержала на птичнике и одной ночи.

Сначала она принюхивалась, хвостом помахивала. Но вот стемнело, подняли крысы возню под полом, завизжали, забегали.

Муська — под кровать.

Однако и там ей показалось жутковато. Она прыгнула к дяде Кузе на постель, но была с презрением вышвырнута оттуда.

Дядя Кузя ругал ее последними словами, а председателя срамил нещадно за то, что тот держит в доме такую бесполезную скотину и вырастил на колхозных хлебах буржуйскую барыню.

Утром Муська подошла к двери и замяукала. «Отпустите, мол, тут пропадешь!» Дядя Кузя открыл дверь, пнул напоследок гладкую кошку и плюнул ей вдогонку.

Вскоре дядя Кузя поехал в город на рынок и увидел там бездомного тощего кота, с одним ухом и дикими глазами.

Кот шлялся по рынку, учинял дерзкие налеты на мясные ряды и на глазах у публики схватил воробья, дремавшего под крышей молочного павильона.

Люди махали руками, топали, пытались устрашить бродягу с зеленым пронзающим взглядом и обкусанным ухом.

Кот устроился на перекладинке, и оттуда на головы базарных торговок и покупателей полетели перья.

Съев птичку, кот утерся лапой и занялся дальнейшим промыслом, а дядя Кузя, хватая соседей за руки, с восторгом кричал:

— Вот это ко-от! Это громи-ило! Мне бы такого на ферму.

— Так возьми, кто тебе не велит? Весь рынок из-за него плачет.

— Где ж такого поймаешь? — с уважением сказал дядя Кузя. — Он, небось, столько бит, что людей пуще огня боится.

Но все же дядя Кузя отыскал на рынке мальчишек и пообещал им рубль за доставку кота. Через полчаса мальчишки принесли дяде Кузе базарного пирата и, показывая исцарапанные в кровь руки, просили:

— Добавь, дедушка, еще хоть двадцать копеек.

Дядя Кузя добавил не двадцать копеек, а рубль.

Так бездомный кот очутился на ферме и получил с легкой руки дяди Кузи грозное имя — Громило.

Коту на птицеферме понравилось. Для зачина он стянул со стола кусок сала и завалился спать в бочку с овсом.

Дядя Кузя за сало кота не ругал, не наказывал. Он выслуживался перед этим бездомным бродягой, старался размягчить его ожесточенную душу лаской и заботой. Он даже попытался погладить кота, но тот всадил когти в его руку. Дядя Кузя стерпел и это. Он готов был пойти на любые унижения и муки ради того, чтобы кот прижился на ферме, ради того, чтоб навел здесь хозяйский порядок.

Выспавшись, Громило напился воды, зевнул и вдруг мгновенно преобразился. Хвост его начал бесшумно перекладываться из стороны в сторону, как руль. Шея укоротилась. Он сжался, напружинился и сделал неожиданный бросок в угол, к бочкам. Раздался писк, и через секунду Громило появился с мышью в зубах.

Глаза его горели беспощадным зеленым огнем!

Нет, он не играл с пойманной мышью. Этому суровому бойцу не известно было, что в мире существуют развлечения. Зато Громило хорошо знал, что такое голод. Не успел он распорядиться добычей, как снова насторожился и снова сделал прыжок.

Дядя Кузя с трудом сдерживал ликование.

— Все! Пропала банда, кончился грабеж, кончился грабеж и дармоедство!

Утром дядя Кузя обнаружил возле печки кучу мышей. Были они всяких мастей и пород. Сам кот Громило с подозрительно раздувшимся животом дремал на плите, утомленный ночной работой.

Дядя Кузя не стал даже чай разогревать, чтобы не беспокоить охотника. Он схватил бутылку и бесшумно выскочил из птичника.

Через час старик вернулся из деревни с молоком. За это время все колхозники уже успели узнать, что в здешних краях появился кот Громило, который наведет порядок не только на ферме, но и во всей деревне.

Дядя Кузя налил в консервную банку молока и, когда кот проснулся, робко попросил:

— Попил бы молочишка на верхосытку.

Громило не заставил себя упрашивать, вылакал все молоко и забрался в бочку с овсом — досыпать.

Ночью он снова промышлял.

Затихли визги под полом, прекратились возня и беготня.

Теперь крысы и мыши воровали редко, жили в постоянном страхе, вскрикивали по ночам. Может, являлась им во сне светящаяся зелеными огнями морда кота Громилы.

Порою Громило ходил с дядей Кузей в птичник, где не совсем равнодушно поглядывал на кур.

Дядя Кузя однажды укорил кота:

— А что, брат, Милаху-то не берет твой зуб? Мышками да крысятами развлекаешься. Ты вот излови ее, анафему, тогда будешь соответствовать целиком и полностью своему имени.

Но враг ушел в подполье, не принимал открытого боя. Тогда дядя Кузя зацементировал все дыры в обеих половинах птичника и оставил всего одну, в кормокухне. Это значительно облегчило охоту Громиле.

Милаха не показывалась. Но в том, что она жила и действовала, не было никакого сомнения. Иногда под полом возникала борьба и снова слышался резкий, как скрип пилы, голос старой атаманши.

Громило уже знал этот голос.

Он настораживался, шел к норе, шевелил хвостом и дежурил, дежурил. Иногда у норы поднимался визг, хрип, шум, и Громило оттаскивал к плите мертвую крысу.

Дядя Кузя бежал смотреть, но это оказывались всего лишь «подчиненные» Милахи.

Кот Громило отъелся настолько, что его можно было, хотя и под сомнением, пускать одного к курам. Дядя Кузя однажды закрыл кота в птичнике.

Среди ночи в той половине, где был оставлен Громило, поднялся переполох. Дядя Кузя сунул ноги в валенки и поспешил на шум.

В полутемном углу птичника, под ящиками несушек, он обнаружил искусанного, окровавленного кота Громилу. Кот старательно зализывал раны. Чуть поодаль от него валялась с растерзанной головой Милаха.

Громило даже не глядел на нее.

Дядя Кузя склонился над израненным котом. Не решаясь погладить его или приласкать, старик лишь словами выражал свое восхищение:

— Громилушко! Воин ты мой! Изничтожил ты гада великого. Тыщи ты колхозные спас, и полагается тебе за это большая премия в виде молока и рыбы. Дают же премии пограничным собакам за верную службу? Дают. Так вот и для тебя я стребую. Если не стребую — значит, я не старый красный партизан, и пусть меня тогда прогонят с должности заведующего фермой в шею.

Дядя Кузя — агитатор

Всякое в жизни бывает. Работал дядя Кузя на птичнике, кур разводил, а тут вдруг пришлось агитацией заниматься.

Прошлая осень на Урале была очень... вот так и напрашивается слово — капризная. Но какой уж тут каприз! Каприз — это когда человек не хочет манную кашу есть, или шаньгу с творогом, или утром вставать в школу. Да мало ли какие капризы бывают.

Но когда в сентябре, в так называемое бабье лето, начинает валить густой, рыхлый снег, валить среди бела дня на неубранные хлеба, на картошку, на свеклу и морковь — это уже не каприз, это настоящее бедствие.

Урожай убирать трудно. Коров на пастбище не погонишь, значит, питаться они должны теми кормами, которые на зиму заготовлены.

Казалось бы, какое отношение все это имеет к птичнику? Оказывается, имеет, и притом самое неприятное. Вместо то-

го чтобы бродить на воле, рыться в ворохе листьев, на огородах, где так много корма бывает после уборки в добрую осень, куры жмутся под навесом. Сидят нахохлившись, упрятав головы под крыло, — дремота, леность одолевают их. А раз курица ленится, не работает — значит, и нестись не будет, это уж точно.

Вот в такой-то слякотный день вышел дядя Кузя из птичника, глянул на небо, непочтительно помянул «небесную канцелярию», потом на хохлаток взглянул. Затаились хохлатки, прижались одна к другой — вместе теплее. Одна курица до того заспалась, что с завалины свалилась. Захлопала она крыльями, возмущенно закудахтала, да так внизу и присела — неохота ей снова на завалину взлетать. Петух глянул на нее сверху, приоткрыв один глаз, и так-то знобко, старческим голосом проскрипел, будто произнес: «У-ух, кура-дура, вовсе обленилась...» — И сам тут же сомлел засыпая.

Привык дядя Кузя к шуму и беспокойству на птичнике. До того привык, что тошно ему стало смотреть на всю эту картину.

— Дрыхнете, окаянные, дрыхнете! — гаркнул он. — А чем я вас кормить буду?

Куры в ответ только слегка колыхнулись. Плюнул дядя Кузя с досады и пошел к председателю — требовать корм птицам.

Председателя он отыскал на дальнем поле возле тракторов. Несмотря на непогодь, трактористы работали, таская машинами прицепы.

Выслушал председатель дядю Кузю, на пенек присел и задумался. Потом поднял усталые глаза:

— Ты слышал про человека, у которого голова пухнет?

— Ну, слышал.

— Так это я. Голова у меня до того распухла, что скоро развалится, как перезрелая тыква.

— Ну и что из этого? — возразил дядя Кузя. — Твоя голова за все в ответе. Оставишь без корму птицу — еще и шишку тебе на голову посадят.

— Посадят, — уныло согласился председатель, — и не одну. А все-таки ты от меня отвяжись. Что у меня, только твои куры на уме? У меня хозяйство...

— Кура — тоже хозяйство.

— Слушай, Кузьма Варфоломеевич, добром прошу тебя — исчезни! Отдадим половину кур на мясозаготовки, и все дела.

— Чего-о? Чего-оо? — насупился дядя Кузя.— Я все лето цыплят чуть ли не в шапке вынашивал, и вы их на мясозаготовки?! Да я вас самих на мясозаготовки!

Председатель бросил с досады окурок и пошел от дяди Кузи прочь. А тот семенил за ним и бушевал. Председатель не выдержал, остановился и сказал, подняв глаза к небу:

— Ну, мокропогодь свалилась, ну, снег... Все выдержу, но только не старика этого! Извел, вконец извел! Я уж скоро сам по-петушиному закукарекаю. — И с мольбой к дяде Кузе: — Кузьма Варфоломеевич, голубчик, выходи из положения сам, ты же старый партизан, придумай чего-нито...

И дядя Кузя придумал.

Он заявился среди уроков в школу и, робко стащив с головы шапку, кашлянул, чтобы обратить на себя внимание учителя.

— Вам чего, Кузьма Варфоломеевич?

У дяди Кузи сразу перехватило в горле:

— Хочу речь сказать...

Учитель улыбнулся. Ребята в классе зашевелились и выжидательно замолкли. А дядя Кузя оттеснил в сторону учителя и достал из кармана яйцо. Свеженькое, чистенькое яйцо, чуть розовеющее изнутри. Он поднял высоко над головой это самое яйцо и спросил:

— Что это?

— Яичко, — ответили ребятишки, делая по-уральски ударение на букву «я».

— Так, правильно, — подтвердил дядя Кузя. — А что требуется для того, чтобы его курица снесла?

— Петух, — раздался неуверенный голос с задней парты, и по классу прокатился смешок.

— Ну, петух, это понятно, — чуть смешался дядя Кузя.— Положим, петух сам по себе горлопан и только в лапшу годится. А что еще наиглавнейшее требуется птице?

— Пища! — нашелся кто-то из ребят.

— Во! — обрадовался дядя Кузя, — в самую точку! А какая пища? Откуда и зачем?

И тут дядя Кузя произнес ту речь, о которой до сих пор помнят в селе. Речь эта взбудоражила всю школу. Дядя Кузя бил себя по груди кулаком, призывая молодое поколение «пойти на прорыв и спасти кур, а они на заботу ответят делом».

На другой день после уроков к птичнику привалила целая ватага ребятишек, и пошла работа. Ребята копали мор-

ковь, свеклу, картошку и засыпали ее в колхозный подвал. Там дядя Кузя отгородил два отсека специально в «фонд птичника».

Затем ребятишки сушили и веяли овес, утепляли здание птицефермы. И когда уже казалось, что вся работа сделана, дядя Кузя отыскал им новое хлопотное дело — собрать по всей округе кости и навозить с реки гальки и песку.

— Нет привередливей скотины на свете, чем курица, — терпеливо разъяснял ребятам дядя Кузя. — Она требует полного рациону. Вот глядите сюда, — тащил он ребятишек в птичник и показывал печь, издолбленную клювами кур. — Почему курица клюет кирпич, залетевши почти под потолок? Может, озорует, как вы в школе? Нисколько. Брюхо у ней с запросами. Брюхо ее, куричье, требует всяческих разносолов: известку, овес, овощ, даже мясо сырое или рыбу. И вот из этих-то... — Дядя Кузя мучительно наморщился, вспоминая ученое слово, слышанное по радио, — вот из этих-то компонентов и образуется яйцо.

Спал ли в те дни дядя Кузя — никому не известно. Если и спал, то час-два в сутки. Он старался всюду успеть. Подбодрить словом «молодое поколение», доглядеть, чтобы ребята не озорничали на птичнике, чтобы ссыпали куда надо гальку, песок, не подпалили бы птичник, сжигая кости.

С этими костями получился непредвиденный конфуз.

В деревне и в округе их оказалось мало, а норму дядя Кузя установил на каждого ученика не меньше трех кило. Некоторые ребятишки даже костяные бабки принесли и сдали. Иные вовсе ничего собрать не сумели. А старик взял каждого на учет и требовал выполнения нормы.

Котьке Пичугину не повезло: он не сумел сдать ни одного килограмма. Ребята подсмеивались над ним, а дядя Кузя, хитровато щурясь, говорил:

— Ничего, ничего, Котька парень глазастый, он еще всем на диво кость сыщет.

И Котька действительно приволок такую кость, что у самого дяди Кузи глаза на лоб полезли. Кость была в столб толщиной, коричневая, как орех, с черными пятнами. Дядя Кузя сначала принял ее за гнилую корягу. Но кость гудела при ударе и не рассыпалась. Стали расспрашивать Котьку, где он добыл такую диковину.

Котька помялся и рассказал.

В пяти километрах от села, возле той самой речки, к которой жалась птицеферма, летом работал экскаватор, добы-

вал глину для кирпичного завода. И раскопал кости мамонта. Часть костей отправили в музей, а часть или не успели увезти, или забыли. Вот Котька и привез на тележке пудовую кость, чтоб уж сразу рекорд установить.

Дядя Кузя был ввергнут в смятение и не знал, как ему поступить с этакой находкой.

— В какие же времена эта животная на земле обитала? — осторожно расспрашивал у ребят дядя Кузя и, когда те сказали ему, заключил: — Вот видите, значит, еще задолго до того, как я партизанил и беляков крошил. И выходит что? Выходит, мы не знаем — были во времена мамонтов куры или нет. И если были, то кто кого ел? Опять же кость в земле лежала и... — дядя Кузя пощелкал в воздухе пальцами, — и какие питательные компоненты ее — мы не знаем. А может, в кости этой больше вреда, чем пользы? Может быть?

И порешили ребята совместно с дядей Кузей отвезти кость мамонта в школу и организовать там исторический уголок.

— А взамен этой мамонтовой кости вы мне потом, ребятки, пуд мелких насобирайте, вот мы и будем квиты.

Ох и сообразительный же старик дядя Кузя, до удивления сообразительный!

Труженик

На деревню спустилась ночь.

Мы вышли с дядей Кузей на улицу, по дрова. Над избами стояли пухлые белые дымы. Они поднимались в высь, густо усыпанную звездами. Снег искрился и перемигивался бесконечно.

— Вызвездило как, — сказал дядя Кузя, задрав голову и придерживая шапку. — Должен налиму ход быть. Надо завтра на реку сбегать — глядишь, добуду себе на уху и хворым курицам на поправку.

Гудела печка, и малинились, наливались жаркой зарей ее бока. Видно было, как на стеклах вспыхивали студеные искры. Но вот от жары начал оплывать на окнах ледок и гасить эти искры одну за другой.

В углу возле бочек что-то зашуршало, и сейчас же откуда-то взялся кот Громило, направляясь туда неслышными шагами. Хвост его загулял из стороны в сторону, не предвещая ничего доброго колхозным вредителям.

Но скоро кот успокоился, развалился подле жаркой печки. Тревога была напрасной — это из щелястого бочонка просыпалась на пол молотая кость.

Дядя Кузя долго переминался.

Я ясно видел, что он хочет о чем-то спросить, и не решается.

Наконец он начал окольно толковать о том, что у нас еще много бесхозяйственности, Что вот весной вместе с ледоходом бревноход получается, а дрова надо покупать втридорога. Потом ругал правление колхоза, которое не позаботилось вовремя о ремонте овощехранилища, и много картофеля замерзло на полях. Но я чувствовал — подъезжает дядя Кузя к чему-то совсем другому, и не эти дела сейчас его донимают.

— Весна вот скоро, — неожиданно вздохнул дядя Кузя,— забот у меня сызнова будет, забот! Опять коршунье кур начнет таскать, цыплят безмозглых. А чего их не таскать? — подумав, заключил старик. — Будь я коршуном, и то таскал бы. Вольеры нет? Нет. Вот и знай на здоровье курятинку кушай.

Он замолчал. И я помалкиваю. Жду, что дальше будет.

— Оно вольеру-то бы и не трудно сделать, — снова стал рассуждать старик, — рабочую силу я сыщу. Вон у меня вся школа ноне в помощниках ходит. Кликни только, налетят, как галчата, и все сделают за милую душу, потому как стали школьники тоже к труду приучаться. Но вот беда — проволоки нету. Есть, правда, у меня на примете...

И тут, наконец, дядя Кузя добрался до сути дела. Оказывается он давным-давно уже обнаружил в лесу старую телефонную линию. Был когда-то здесь леспромхоз. Провели эту линию лесозаготовители, но, когда вырубили лесосеки, забросили ее и проволоку не сняли, а дядя Кузя побаивается ее взять: а ну как влетит за это?

— Не влетит! — заверил я его. — Мобилизуй ребят, снимай эту самую проволоку и делайте вольеру. Леспромхоз тот уже в другую область переехал.

— Ну? — обрадовался дядя Кузя и потер руки. — Все! Подземную грозу Громило истребил, теперь еще воздушную надо пресечь, и станут наши курочки жить да поживать и добра колхозу наживать.

Долго не мог я уснуть в ту ночь. Лежал и все думал о дяде Кузе, об этом хлопотливом труженике, которому ни бо-

леть, ни умирать некогда. Он весь в заботах, весь в делах — этот гостеприимный и говорливый хозяин беспокойного куриного царства.

Их много на нашей земле, таких вот вечных, неутомимых тружеников.

БАБУШКА С МАЛИНОЙ

На сто первом километре толпа ягодников штурмует поезд «Комарихинская — Теплая гора». Поезд стоит здесь одну минуту. А ягодников тьма, и у всех посуда: кастрюли, ведра, корзины, бидоны. И вся посуда полна. Малины на Урале — бери не переберешь. Шумит, волнуется народ, гремит и трещит посуда — поезд стоит всего минуту. Но если бы поезд стоял полчаса, все равно была бы давка и паника. Так уж устроены наши пассажиры — всем хочется быстрее попасть в вагон и там уж ворчать: «И чего стоит? Чего ждет? Рабо-отнички!»

У одного вагона гвалта и суеты особенно много. В узкую дверь тамбура пытаются влезть штук тридцать ребятишек, и среди них копошится старушонка. Она остреньким плечом «режет массы», достигает подножки, цепляется за нее. Кто-то из ребят хватает ее под мышки, пытаясь втащить наверх. Бабка подпрыгивает, как петушок, взгромождается на подножку, и в это время случается авария. Да что там авария — трагедия! Самая настоящая трагедия. Берестяной туес, привязанный на груди платком, опрокидывается, и из него высыпается малина, вся, до единой ягодки.

Туес висит на груди, но уже вверх дном. Ягоды раскатились по щебенке, по рельсам, по подножке. Бабка оцепенела, схватилась за сердце. Машинист, уже просрочивший стоянку минуты на три, просигналил, и поезд тронулся. Последние ягодники прыгали на подножку, задевая бабку посудой. Она потрясенно смотрела на уплывающее красное пятно малины, расплеснувшееся по белой щебенке, и, встрепенувшись, крикнула:

— Стойте! Родимые, подождите! Соберу!

Но поезд уже набрал скорость. Красное пятно мелькнуло зарницею и погасло за последним вагоном. Проводница сочувственно сказала:

— Чего уж там собирать?! Что с возу упало... Шла бы ты, бабушка, в вагон, а не висела на подножке.

Так, с болтающимся на груди туесом и появилась бабка в вагоне. Потрясение все еще не сошло с ее лица. Сухие, сморщенные губы дрожали и дрожали; руки, так много и проворно работавшие в этот день, руки старой крестьянки и ягодницы тоже тряслись.



Ей поспешно освободили место, да и не место, а всю скамейку притихшие школьники, видимо всем классом выезжавшие по ягоды. Бабка молча села, заметила пустой туес, сорвала посудину вместе со стареньким платком через голову и сердито запнула его пяткой под сиденье.

Сидит бабка одна на всей скамейке и неподвижно смотрит на пустой фонарь, подпрыгивающий на стене. Дверца у фонаря то открывается, то закрывается. Свечи в фонаре нет. И фонарь уже ни к чему. Поезд этот с вагонами еще дореволюционного образца давно уже освещается электричеством, а фонарь просто запамятовали снять, вот он и остался сиротой, и дверца у него болтается.

Пусто в фонаре. Пусто в туесе. Пусто у бабки на душе. А ведь еще какой-то час назад она была совершенно счастлива. В кои-то веки поехала по ягоды, через силу лазила по

чащобе и лесным завалам, быстро, со сноровкой собирала малину и хвастала ребятишкам, встретившимся ей в лесу:

— Я прежде проворна была! Ох, проворна! По два ведра малины в день насобирывала, а черницы либо брусники, да с совком — и поболе черпывала. Свету белого не видать мне, если вру, — уверяла бабка пораженных ребят. И раз, раз, незаметно так, под говорок, обирала малину с кустов. Дело у нее спорилось, и удобная старинная посудина быстро наполнялась.

Ловка бабка и на диво говорлива. Успела рассказать ребятам о том, что человек она ноне одинокий, пережила всю родову. Прослезилась, помянув внука Юрочку, который погиб на войне, потому что был лихой парень и не иначе как на танку бросился, и тут же, смахнув платком слезы с реденьких ресниц, затянула:

В саду ягода-малина
Под ю-у-укрытием росла-а-а...

И даже рукой плавно взмахнула. Должно быть, компанейская бабка когда-то была, погуляла, попела на своем веку.

А теперь вот молчит, замкнулась. Горе у бабки. Предлагали ей школьники помощь — хотели взять туес и занести его в вагон — не дала. «Я уж сама, робятки, уж как-нибудь благословясь, сама, я еще проворна, ух, проворна!»

Вот тебе и проворна! Вот тебе и сама! Была малина — и нет малины.

На разъезде Коммуна-кряж в вагон вваливаются три рыбака. Они пристраивают в углу связки удочек с подсачниками, вешают на древние чугунные крючки вещмешки и усаживаются подле бабки, поскольку только подле нее и есть свободные места.

Устроившись, они тут же грянули песню на мотив «Соловей, соловей-пташечка»:

Калино, Лямино, Левшино!
Комариха и Теплая гора!..

Рыбаки эти сами составили песню из названий здешних станций, и песня им, как видно, пришлась по душе. Они ее повторили раз за разом. Бабка с досадой косилась на рыбаков.

Молодой рыбак в соломенной драной шляпе крикнул бабке:

— Подтягивай, бабусь!

Бабка с сердцем плюнула, отвернулась и стала смотреть в окно. Один из школьников подвинулся к рыбаку и что-то шепнул ему на ухо.

— Ну-у! — удивился рыбак и повернулся к бабке, все так же отчужденно и без интереса смотревшей в окно: — Как же это тебя, бабусь, угораздило? Экая ты неловкая!

И тут бабка не выдержала, подскочила:

— Не ловкая!? Ты больно ловкий! Я ране, знаешь, какая была! Я ране... — Она потрясла перед рыбаком сухоньким кулачишком и так же внезапно сникла, как и взъерошилась. — А теперь что? Теперь уж на мыло пора переделывать, да и то на стиральное. На духовое уж не гожусь.

Рыбак неловко прокашлялся. Его попутчики тоже прокашлялись и больше уже не запевали. Тот, что был в шляпе, подумал, подумал и, что-то обмыслив, хлопнул себя по лбу, будто комара пришиб, вскочил, двинулся по вагону, заглядывая к ребятам в посуду:

— А ну, показывай трофеи! Ого, молодцы! С копной малины набрала, молодец! — похвалил он конопатую девочку в лыжных штанах. — И у тебя с копной! И у тебя! Молодцы! Молодцы! Знаете что, ребятки, — хитро, со значением прищурился рыбак, — подвиньтесь-ка ближе, и я вам очень интересное скажу на ухо.

Школьники потянулись к рыбаку. Он что-то пошептал им, подмигивая в сторону бабки, и лица у ребят просияли.

В вагоне все разом оживились. Школьники засуетились, заговорили. Из-под лавки был извлечен бабкин туес. Рыбак поставил его подле ног и дал команду:

— Налетай! Сыпь каждый по горсти. Не обедняете, а бабусе радость будет!

И потекла малина в туес, по горсти, по две. Девочка в лыжных штанах сняла «копну» со своего ведра.

Бабка протестовала:

— Чужого не возьму! Сроду чужим не пользовалась!

— Молчи, бабусь! — урезонил ее рыбак. — Какое же это чужое? Ребята ж эти все внуки твои. Хорошие ребята. Только догадка у них еще слаба. Сыпь, хлопцы, сыпь, не робей! — И когда туес наполнили доверху, рыбак торжественно поставил его бабке на колени.

Она обняла посудину руками и, пошмыгивая носом, на котором поплясывала слеза, все повторяла:

— Да милыя, да родимыя! Да зачем же это? Да куда мне эстолько? Да касатики вы мои!..

Туес был полон, даже с копной.

Рыбаки снова грянули песню. Школьники тоже подхватили ее.

Эх, Калино, Лямино, Левшино!
Комариха и Теплая гора!

Поезд летел к городу. Электровоз рявкал озорно, словно бы выкрикивал: «Раздайся народ! Бабку с малиной везу!» Колеса вагонов поддакивали: «Бабку! Бабку! С малиной! С малиной! Везу! Везу!»

А бабка сидела, прижав к груди туес с ягодами, слушала дурашливую песню и с улыбкой покачивала головой:

— И придумают же, придумают же, лешие! И что за востроязыкий народ пошел?!

ЗЛОДЕЙКА

Эту собаку зовут Злодейка, хотя ничего злодейского она не совершила. Получила она такое имя за усердие. Да, да, за усердие.

Есть люди, которые любят всякие совместительства, проще сказать, занимают по полдолжности, ну и, конечно, так и работают — серединка на половинку.

И на рыбалке тоже такое случается. Едет человек рыбачить, а ружье с собой прихватит: авось, мол, рыбы наловлю и подстрелю чего-нибудь.

А рыбак, о котором я хочу рассказать, не только ружье, но и собаку с собой прихватил, чтобы, так сказать, уж все разом сделать: и порыбачить, и поохотиться, и собаку «натаскать».

Звали ее Фишкой. Была она молоденькая, шустрая, с умильными глазами.

Хозяин ее, Паша Усольцев, приехал на станцию Утес, а оттуда к реке Усьве пошел. Идти километров пять, лесом. Фишка всю дорогу по кустам металась, взвизгивала от радости, мышиные норки раскапывала. Иногда она подбегала к Паше и преданно, восторженно глядела на него: дескать, я так тебе благодарна, что и выразить не могу!

«Видно, показать ей свежий след на первый раз нужно, а потом уж пойдет дело», — подумал Паша.

Нашел он барсучью норку, поймал Фишку и сунул носом в рыхлую землю. Фишка понюхала, хвостом понимающе вильнула, еще раз понюхала, а потом к хозяину обернулась. На носу у нее землица, в глазах восторг.

— Ищи, ищи! — приказал Паша.

Фишка взвизгнула и подала хозяину лапу — снова благодарила хозяина за все радости, доставленные ей, и за эту милую шутку.



Пнул Фишку Паша и больше не искал ей свежие следы, понял, что бесполезное это занятие.

На Усьве он сколотил плотик, положил рюкзак, посадил рядом с рюкзаком Фишку, ружье пристроил возле своих ног и поплыл. Плывет и хлещет спиннингом по воде, плывет и хлещет. Поклевок нет, только трава на блесну цепляется.

Долго плыл Паша Усольцев и ничего не поймал. Пришел он в окончательное уныние и стал ругать Фишку. Лениво ругал, так, от нечего делать. А она думала, что он с ней беседует на мирные темы, и хвостиком согласно повиливала.

Но вот и Красная глинка — крутой, обрывистый берег с бурыми обнажениями в вымоинах, поросший тощим лопухом и кое-где кипреем. Красная глинка километрах в восьми от

города Чусового. Когда-то здесь водилась прорва рыбы. Но аммонал, острога, бот, мелкоячеистые неводы, мережи и другие браконьерские средства сделали свое дело — возле Красной глинки почти не осталось рыбы. Только по старой памяти городские рыбаки ходят сюда, иной раз собирается их здесь к ночи человек по двадцать.

Плесо возле Красной глинки глубокое, изогнутое дугой, а чуть ниже шумит стремительный перекат. Буйно плескались здесь когда-то таймени, хариусы, а в засаде, возле упавших лесин и в траве стояли щуки, кормились в омутистой глубине язи и голавли. А теперь только изредка можно увидеть здесь в тихий вечер или на утренней зорьке, как серпом выбрасывается из воды яркоперый таймень и оглушительно хлещет хвостом по воде.

Но трудно поймать тайменя возле Красной глинки. Очень уж умна стала рыба. Очень уж много раз брала она и срывалась, очень уж много видела на своем веку. Однако нет такого рыбака на свете, который бы не мечтал поймать ту рыбину, которая чуть было не попала к нему.

Вот и в тот раз спиннингов в десять обрабатывали рыбаки плесо. Каких только блесен ни подбрасывали, как только ни ловчили — не брал таймень. Плескался, буйствовал, на виду рыбешку гонял — и не брал. Устали рыбаки, махнули на это дело рукой, к костру подались.

В это время и выплыл из-за поворота на плотике Паша Усольцев и Фишка. Паша трудился, успевая сделать побольше забросов, пока его не пронесло по плесу и не подхватило раскатистое течение на перекате.

— Брось, не старайся! — крикнули Паше рыбаки. — Мы уже тут каждый метр квадратно-гнездовым, пропашным и всякими разными способами обработали.

Паша не отвечал: Паша трудился, надеясь, что ему-то уж повезет. Внезапно раздался треск катушки, и все увидели, как согнулось удилище в руках Паши, как он весь напрягся, шире ноги расставил и началась борьба.

Таймень не давался Паше. Он был «битый», этот таймень, и, очевидно, не раз уже вывертывался из трудного положения. Он стремительно бросался из стороны в сторону, выметывался наверх и ныром уходил под плот.

Берег ревел. Каких только советов не подавал народ! Но Паша не отвечал, он боролся молчком.

А плот несло к перекату. Таймень ослаб. Паша подводил его ближе и ближе. Вот возле самого плота забился, забуше-

вал речной богатырь, и тут Фишка, о которой все забыли, не выдержала, бросилась на тайменя сверху, как лев, ну и, конечно, сняла рыбину с якорька.

...Паша подмотал катушкой блесну, а Фишка выкарабкалась на плот и отряхнулась. Деловито так отряхнулась, с чувством — поработала.

Народ на берегу стонал от смеха. Паша глянул на Фишку и схватился за голову:

— Дур-р-рак! — вопил он. — Зачем, ну зачем я тебя взял с собой? Зачем?! — Это он спрашивал Фишку. — Злодейка ты! Что ты наделала?!

Фишка виновато облизнулась и горестно взлаяла: дескать, хочешь все как лучше сделать, а получается не так да не этак.

Плот подхватило бурным течением на перекате и быстро понесло. Паша рвал на себе волосы.

С тех пор Фишка стала Злодейкой.

ЩЕНОК СО ЗНАМЕНИТЫМИ ШИШКАМИ

Был у нас щенок — Грозный. Знающие люди уверяли, что получится из него толковый охотник — у него, мол, шишки отличительные на голове и лай выразительный: обрывистый, басовитый.

Однажды пошел я с ребятишками за грибами и решил взять с собой Грозного, чтобы проверить — куда он годен. Сначала дочка моя на поводке его вела, а на окраине города, возле железнодорожного моста, отпустила.

Грозный возликовал, по траве покатался, из канавы воды полакал и ринулся вперед, задиристо подняв тонкий, еще не опушившийся хвост.

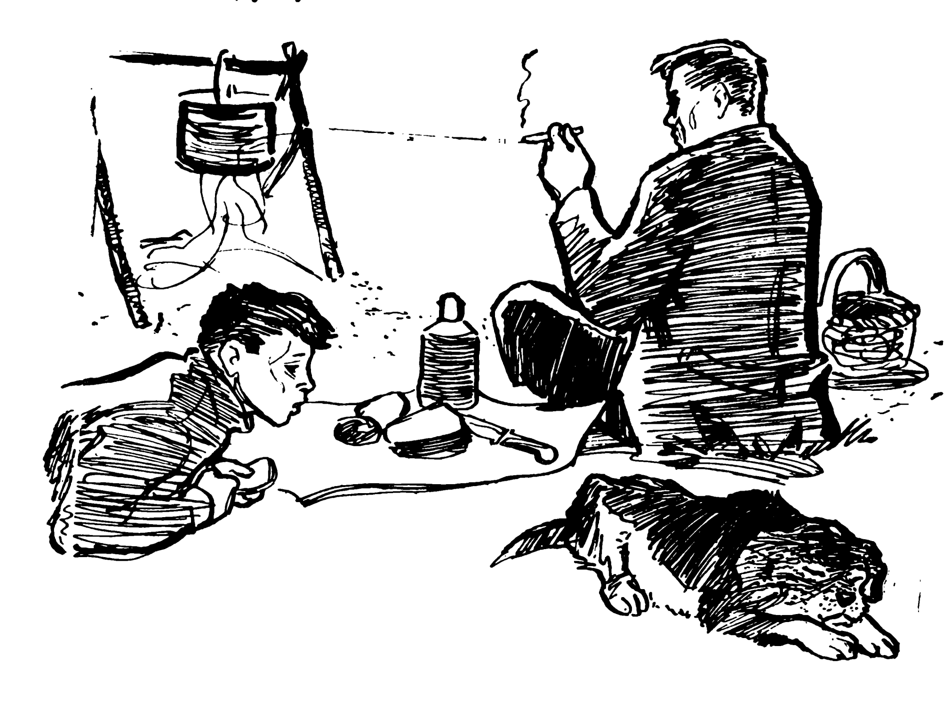
Возле моста дом, и у крылечка куры. Ворвался Грозный в стаю кур и разметал их. Заорали хохлатки, крыльями захлопали и в панике под крыльцо забились. Грозный и тут их настиг, выгнал из-под крыльца. Изловчился он и одну курицу за хвост поймал — едва мы ее отняли.

Дочка схватила Грозного в беремя и бежать — что, если хозяева увидят, какой разбой Грозный учинил!

Но все обошлось. Дошли мы до леса и начали грибы со-

бирать. Грозный по лесу заметался, затявкал. Ни птички, ни бабочки не пропускал — за всеми бегал, задрав голову.

До того он у нас набегался и запалился, что к обеду у него ноги стали заплетаться и язык длинный повис. Сели мы на берегу Вильвы обедать, хлеба Грозному дали, но он даже не понюхал его, уснул.



Шли по берегу два охотника, остановились возле нашего огонька — покурить.

Один из охотников, с усмешкой глядя на повергнутого сном щенка, который положил морду на лапы и даже чуть похрапывал, сказал:

— Натешился охотник.

— Еще бы не натешиться! Всю дорогу промышлял, еще в городе начал...

— А в городе-то за кем же? — поинтересовался рыжебородый охотник в кожаной шапке.

— Кур шерстил.

— Ну-у! — удивился охотник и захохотал. — Ха-ха-ха,

м-молодец! Ай, молодец! Будет из него толк, раз уж он сейчас хвосты курам рвет. А где он их встретил-то?

Я с подробностями начал рассказывать о лихом набеге Грозного. Вдруг заметил, что лицо у рыжебородого делается все скучней и скучней.

— Изба у моста?

— У моста.

— Мазаная?

— Мазаная.

— С кривой трубой?

— Труба не помню какая.

— А крыльцо? Крыльцо зеленое, с навесом?

— Зеленое, с навесом.

— Братцы! — крикнул охотник. — Это ж моих кур он пластал! Все приметы налицо... Дома никого нет!

Плюнул я и чуть не взвыл от досады: ну кто меня за язык тянул, кто?

Охотники больше не называли Грозного молодцом и вскоре ушли.

Между прочим, доброй собаки из Грозного так и не получилось. Вырос он глупым псом и пустолаем, только кур у соседей ловко крал.

Сколько я принял из-за него бед, сколько нервов потратил и штрафов заплатил — не перечесть. Вот и верь людям, которые нащупывают на собачьих головах какие-то знаменитые шишки и обещают нивесть чего.

Знаю я эти шишки!

НАКЛЕПКИ

Шли по лесу молодой и старый охотники, точнее: дядя и племянник. Дядя — звали его Василий Васильевич — всю жизнь в лесу. Он работает на сплаве древесины и попутно занимается рыбалкой и охотой.

Племянник приехал к нему в гости из города. Человек он страшно говорливый, всему удивляется, всем восхищается и норовит обязательно выстрелить. Это всегда так: попало ружье в руки горожанина, да еще такого, который на охоте не бывал, — ну, берегись, малые птахи, берегись, сороки, галки и вороны, — идет погубитель. Дичи-то ему не добыть,

а тех птиц и зверюшек, что сами на мушку садятся, такой охотник очень любит подшибить. Да еще сфотографируется с дятлом или галкой, держа ее двумя пальцами и улыбаясь, — это на потеху родным деткам: вот, мол, какой ваш папа герой, вот какой меткий стрелок...

Ходили, ходили дядя с племянником — нет уток, даже в глаза ни одной не видели. Скис племянник, едва плетется.



Он-то думал, что будет палить без устали и набьет птицы мешок под завязку, и на тебе — даже ни разу не выстрелил.

Свернули они в лог, вышли на покос, среди которого стоял подбоченившись этакий пухлый, пышный, похожий на кулич, стожок сена. Стожок был приметан к старой, наполовину обломанной рябине. И на рябине...

— Что это? — сразу пересохшим голосом спросил племянник.

— Рябчики, — ответил Василий Васильевич и на полянку шагнул. Фыркнули крыльями рябчики — и врассыпную.

Племянник — за ними. Василий Васильевич поймал его за руку:

— Куда? Не видишь, что ли, рябчики еще малы, бесхвостые вовсе. Вот подрастут, тогда и стреляй...

— Одного, дядя Вася, на пробу.

— Говорю — нельзя!

— Одного, дядь Вась... Никто не узнает.

— Тьфу ты, азартный какой! — ругнулся дядя Вася и хитро прищурился:

— Ну, ежели одного, на пробу. А не пожалеешь?

— Да что вы? — сглотнул от нетерпения слюну племянник, а сам уже курок взвел и глазами зыркает по лесинам, но рябчиков увидеть не может. Малы еще рябчики, а маскироваться умеют. Вот рядом, совсем рядом чифиркают, на голос матери откликаются, но не показываются. Ах какие хитрые, какие ловкие — замаскировались.

— Ну, как? — подошел ближе к племяннику дядя.

— Не могу заметить. Мне бы только на миг... Я бы... — зашептал племянник.

Дядя покосился на племянника и усмехнулся. Аж побледнел от напряжения паренек, а глаза алчные, огнем горят. «Ну, этого надо сразу отучать от лесного блуда, иначе лихой браконьер-хапуга из него получится», — подумал Василий Васильевич и показал племяннику на пихту:

— Гляди, во-он подле пихты липа.

— Вижу.

— Одна ветка липы поздоровалась с пихтовой лапкой, и на ней...

— Ах, как же это я раньше-то не заметил? Сейчас, сейчас, — целится парень в серенький комочек, чуть видимый сквозь пихтовую хвою, а руки у него дрожат.

— Лучше целься, не промажь, — сказал Василий Васильевич, и в голосе его смех послышался, но не обратил на это внимания племянник. Он еще плотнее прижал ружье к плечу — и ба-бах! Побежал к пихте, а Василий Васильевич — в лог, к воде.

Спустя минуту увидел: мчится по косогору его племянничек, ружье бросил, орет благим матом, а за ним столбится и гудит осиный рой.

— В воду! — скомандовал Василий Васильевич. — Руками не маши! В воду!

Взвизгнул парень и бултыхнулся лицом в ручеек, который лениво сочился по логу. А когда приподнялся — Василий Васильевич упал в траву, сраженный смехом. Племянника не узнать. Все лицо его в огромных волдырях, один глаз вовсе

заплыл, не смотрит, верхнюю губу на сторону унесло, и стала она с чернильницу-непроливашку величиной.

— Ха-ха-ха! Наклепали тебе рябчики морду-то, наклепали!..

— Болит ужасно, — чуть не плача сказал прыткий охотник и поник головой. Он уже понял, что Василий Васильевич нарочно втравил его в эту историю — осиное гнездо вместо рябчика показал. И обижаться нельзя — не жадничай, не подличай в лесу.

— Ну что ж, дальше пойдем или как? — поинтересовался Василий Васильевич.

— За утками бы.

— А рябчиков больше не хочешь?

— Не-е, не желаю. Ну их...

«Ага, подействовали, значит, наклепки», — отметил Василий Васильевич и скомандовал:

— Тогда шагом марш ружье искать!

И они пошли дальше, старый охотник и молодой парень, из которого когда-нибудь, может, тоже получится охотник. Вполне возможно — учитель ему попался опытный, знает, как надо молодежь натаскивать.

КАК ЧИРОК ОХОТНИКА ИСКУПАЛ

Далеко из города на охоту ходить.

Поднялся я чуть свет и отмахал двенадцать километров, прежде чем до озер добрался. Ну, думаю, теперь поохочусь.

Впереди меня длинное, узенькое озерцо. Надо как-то перебраться через него. Вижу, поперек озера береза лежит. Ветром ее выворотило вместе с корнем. Ненадежная, конечно, переправа, но другой нет. Пошел я по березке.

Иду осторожно. Ружье в руке бережно несу. И вот, когда добрался до середины озерца, из-под березы выскочил чирок и побежал по воде, хлопая крыльями. Я с переполоху ружье вскинул, стрелять хотел, да равновесие потерял — и бултых в воду.

Кое-как до берега добрался. Озеро-то узенькое, но глубина в нем страшенная, и всего меня водорослями опутало. Вылез я на берег и от расстройства чувств чуть не заревел: из патронов вода льется, папиросы размокли.

А какой же я охотник без патронов и без курева? Вылил воду из сапог и домой побрел. Все двенадцать километров ругал я этого чирка. Нехорошо он подшутил над охотником.

ЮРКИЙ РЯБЧИК

Приходилось ли вам слышать песенку рябчика?

Коли не приходилось, обязательно сходите в лес весной или осенью и послушайте. Голос у рябчика очень заливистый, и трели такие, что не всякий охотник даже пищиком сможет их повторить.



Но если научиться свистеть, как рябчик, можно хорошо поохотиться. Птица эта отзывается на голос рябчиный и быстро прилетает туда, куда ее зовут.

Сижу я однажды возле лесной просеки, выделываю рябчиные трели пищиком. Неподалеку от меня откликается сипловато рябчиха. А по ту сторону просеки звенит-заливается петушок. Требует, чтобы к нему летели. Но вот не выдержал он, фуркнул крыльями и полетел, ловко планируя между деревьев. Опустился рядом со мной, сердитый такой, со взъеро-

шенным хохолком на голове. Сел он так близко, что я стрелять не решился — разобью в прах птицу. Пусть, думаю, отбежит, тогда выстрелю. Постоял, постоял петушок, прислушался и засеменил.

Я стрелять приготовился, только и жду, когда он подальше отбежит. А рябчик — раз-раз за пенек, затем под валежину, прошелестел осенними листьями и был таков.

Я плюнул от досады. А потом успокоился и со смехом проговорил:

— Ну, значит, жить тебе, ловкий рябчик-свистунок.

ТАЙМЕНЬ И МЫШКА

Живут в горных, светловодных реках Сибири и Урала таймени. Рыба эта не только красивая, но и очень сильная, стремительная, хищная. Стоит она всегда у холодных ключей или возле шумных речек — охотится не только за рыбами, но и за всякой другой плавающей тварью.

Прошлым летом я рыбачил с товарищами на реке Чусовой. На ночлег мы остановились ниже речки Сылвицы — притока Чусовой. Скалы там над рекой нависли, под ними глубина темная, и речка из скал с шумом вырывается. Ну, думаем, здесь обязательно таймень должен стоять.

И не ошиблись. Когда совсем завечерело и отблески зари, с трудом пробиваясь из-за гребней скал, позолотили гладь спокойного плеса, возле речки раздался хлопок, и такой, что эхо, как выстрел, прокатилось меж крутых берегов.

Таймень хвостом ударил!

И принялся он бушевать. Рыбешка мелкая сигала на метр от воды, дождем сыпалась, спасаясь от лютого хищника.

Я с лодки бросил блесну. Но не брал ее таймень — и только! Несколько щук вытащил, голавля, язя, даже жереха поймал, который зашел так высоко из Камского моря, а таймень не ловился.

— Брось, — сказали мне товарищи, — брось, не майся.

А мне так хотелось на спиннинг поймать тайменя, что не было сил от реки оторваться. Все блесны, какие у меня были, перепробовал.

Наконец изнемог я, бросил это занятие. Похлебали мы ухи, спать на берегу улеглись. Луна вышла, осветила плесо. Все оно словно белой пленкой подернулось. Видны отражения скал и деревьев. Тишина. Только всплески рыб нарушают тишину. Но я не обращаю внимания на эти мелкие всплески.

Я слышу одного тайменя.

Вот он ахнул раз, другой, третий и затих. Пиратничает таймень, охотится, дьявол, а мне из-за него сна нет.



Потом возле речки зашлепал хвостом таймень, еще и еще. Не выдержал я, схватил спиннинг и давай с берега забрасывать. Товарищи мои спят, а я хлещу, а я хлещу.

Слышу, захрустели шаги по камешнику. Кто-то на огонек идет. Поздоровались, закурили. Смотрю: тоже рыбак со спиннингом. Я ему рассказываю, так, мол, и так. Вздохнул незнакомец:

— Да-а, не берет на блесну таймень. Капризный хозяин в этих водах, лихой хозяин. Когда, мол, захочу, тогда и блесну схвачу. Я сегодня целый день тоже воду бью без толку.

В это время под скалой, совсем близко от нас, таймень выбросил широкий, острокрылый хвост и рассек им лунную полоску, будто лист стали раздвоил. И сразу же на этом месте чуть взбурлила вода.

— Постойте! — встрепенулся рыбак. — Он ведь мышку оглушил. А ну, попробуем, ну-ка, попробуем!

Незнакомец быстро развязал рюкзак и вынул из него искусственную мышь, сделанную из пробки. Я поднес ее к огню, разглядел. Пробка, обтянутая крепким полотном. Есть носик, хвостик. Вместо лап крючки, на спине крючки. Вся мышь в крючках.

Прикрепил это изделие рыбак, взмахнул, зашуршала катушка. Под скалой всплеснуло. Стал вращать катушку рыбак, сматывать лесу. Я вижу: из-под скалы на светлый блик выплыла мышка. Струйки от нее по сторонам расходятся, темное пятнышко видно! И вдруг: раз! раз! раз! — подряд три хлопка. Ударил таймень хвостом накрест, и тут же рыбак сквозь зубы сообщил:

— Есть! Взял!

Заходил таймень, забушевал. Вода кипит. Рыбак никак не может совладать с ним.

— Здоров черт! — дрожащим голосом, все так же, сквозь стиснутые зубы, сказал он.

Таймень позволил себя вести метра три-четыре, а потом рванулся так, что рыбак катушку удержать не смог. Я услышал прискорбное известие:

— Сошел!

Подмотал рыбак мышку. Два тройника из нее с корнем выдраны.

Снова заброс, и снова таймень бросился на мышь, предварительно оглушив ее хвостом. И на этот раз не удалось его вытащить. Так всю ночь таймень хлестал злосчастную мышь, сделанную из пробки, пока не выдернул из нее все крючки.

К утру от изящно сделанной мышки осталась одна пробка да жалкие клочья клееного полотна.

Рыбак долго сокрушался, а потом сказал:

— Ну, помирать буду, а этой ночи, этого великого удовольствия не забуду.

Он долго ворочался у костра, время от времени вскрикивая:

— Кэ-эк он ее! Ну, красота! Ну, сила! Ну, это черт знает что! А мышку я переконструирую, непременно переконструирую. Я его, собакиного сына, все равно переборю!

Так он и уснул расстроенный и счастливый. Я же забылся на часок и рано-рано вскочил.

Туман над рекой, тишь. От скал холодком тянет. Все кругом спит, даже рыба не плещется, и птицы пока молчат.

Стараясь не шуметь, выплыл на плесо, пустил лодку. Медленно она плывет по середине реки. Делаю заброс — щука, второй — щука. Радуюсь тому, что на Чусовой, которая еще лет пят назад была вовсе безрыбной, стала такая отличная рыбалка.

Это Камское море нас выручает. Оно — как рыбий садок. Каждую весну в наши реки поднимаются тучи мальков. Появились даже судаки, язи, голавли и лещи. А мелких окунишек, плотвы, ельца, красноперки, как саранчи, навалило.

Вот лодку поднесло к скале, возле которой трепещется студеный ручей. Делаю заброс к ручейку, считаю до пяти, чтобы блесна опустилась на дно. Поворот катушки, толчок, подсечка — и вот заходила, заходила рыбина на блесне. Бьется она упругими толчками, резко бросается в стороны. Чувствую — не щука это, но пока еще не могу поверить, что взял таймень. И вдруг на гладь воды вываливается пятнистый бок с ярко-багровыми плавниками, а затем яростно хлопает хвост.

— Таймень! — гаркнул я, не помня себя от радости.

Товарищи повскакивали, подбежали к воде и принялись давать всевозможные советы. Но я не первый год рыбачу и знаю, что сейчас меньше нужно слушать советов, а больше выдержку сохранять и не терять головы.

Ходит таймень вокруг лодки, стремительно бросается под нос ее, выбрасывается наверх. И когда на секунду слабеет леса, я слышу вопли с берега:

— Отпустил! Отпусти-ил! — И тут же: — Да нет! Не орите! Типун тебе! Тяни давай! В лодку выбрасывай! К нам плыви!

Лодку потащило быстрее. Впереди перекат, и здесь, на быстрине, мне с тайменем не сладить. Тогда я выпрыгиваю из лодки и спешу на берег. Таймень уже ослаб, угомонился. Я подвожу его к берегу и с ходу, но не рывком, вытягиваю на камни. Ударился, взвился гордый речной атаман на берегу, но уже поздно. Он у меня в руках.

— Наконец-то! — ликую я и с восторгом гляжу на узкую пятнистую рыбину с изящной головой, с нежно-белым брюшком, от которого расходятся по бокам серые и красноватые крапинки.

На глазах таймень теряет окраску, вянет, блекнет. Сходит позолота с его боков и спины. Да, такая рыба может сохранить окраску только в кристально чистой и студеной воде. Недаром в прошлые годы, когда Чусовая была мутна,

таймени гибли сотнями, и спаслись только те, что ушли в малые речки или спустились вниз.

Товарищи мои вброд перемахнули Чусовую, и рыбак с ними. Он посмотрел на тайменя и сказал:

— Не тот!

Я и сам заметил, что во рту пойманного тайменя нет ни одной царапины, да и размером он гораздо меньше.

Тот неукротимый красавец еще живет в Чусовой, буйствует лунными ночами на плесах. Днем стоит у светлых ключей, смотрится в них, как в зеркало. Сыщи его рыбак и попробуй поймать. Может, тебе повезет, и тогда уж ты на всю жизнь запомнишь, что значит поймать тайменя. А уха из него!.. Да чего там толковать, лучше еще раз съездить на рыбалку. Авось пофартит!

РЫБАЧЬЯ ЖИЛКА

Пищуженец

Как-то уж так повелось, что при слове «дедушка» нам представляется бородатый, степенный человек, который сидит на печи да трубочку покуривает. А у меня вот дед был совсем не такой. Еще в молодости ему выбило глаз пистоном, и он его повязывал белым, всегда чистым платком. Бороду дед брил начисто, а щеголевато закрученные усы расчесывал гребешком. Играл мой дед на гармошке, растягивая ее во все меха, и плясал под собственный аккомпанемент. Плясал, конечно, пьяненький и обязательно босиком.

Был дедушка не только веселый кутила, но и отличный рыбак и охотник. Потерянный на охоте глаз нисколько не повлиял на него. Он и жизни лишился на рыбалке — утонул на Енисее. Его охотничья и рыбачья жилка передалась отцу, а от него, видимо, и мне.

Я рано начал рыбачить, на пятом году. Дом наш стоял на берегу Енисея. Возле реки всегда сидело много ребятишек с удочками. Стал и я просить, чтобы и мне удочку сделали. На просьбу мою отозвалась бабушка. Она привязала к палке суровую нитку, а за нитку гайку ржавую от плуга. Крючка у бабушки не оказалось, и она узлом перехватила за сере-

дину червяка, сказав, что у хорошего рыбака и так рыба клюнет.

Закинул я свою удочку, сижу, жду. У ребят удилища длинные и лесы далеко, а у меня возле самого берега. Но я жду и никакого внимания на насмешки ребят не обращаю. Вдруг задрожала моя леска и натянулась. Я, как хватил ее, вижу: болтается что-то на конце лесы.

— Добыл! Добыл! — завопил я на всю деревню и во двор кинулся, схватив удочку в беремя.

Бабушка выбежала из дома, лица на ней нет, думала, уж не упал ли я в воду. А я и слова сказать не могу от радости. Посмотрела бабушка на мою добычу, хотела взять ее, но тут же руки отдернула:

— Батюшки! Пищуженец!

Посмотрел я на рыбку: головастая, скользкая, пучеглазая, ну прямо чертенок водяной. А мне-то что, все равно рыба! Бегаю по двору и всем кричу:

— Я пищуженца поймал!

С тех пор меня стали дразнить «пищуженцем», и тогда же проснулась во мне рыбацкая жилка. А рыбу-то я поймал, оказывается, бросовую. В Сибири ее зовут пищугой, на Урале — абакшей, в литературе — подкаменщиком, а вообще — это пресноводный бычок. Нигде эту рыбу, сколь мне известно, не едят — брезгуют; очень уж она отвратительная на вид. Зато сам пищуженец жрет что попало и на удочку берет охотно. Вот и тогда пожадничал пищуженец на червяка, заглотил его так сильно, что я рыбу и без крючка добыл.

Права была бабушка: у терпеливого — а это значит у хорошего — рыбака всегда клюнет!

Налимы ожили

Рыбачили мы с дедом зимой. Ставили на налимов переметы. Нехитрая штука — выдолби лунку, привяжи на кончик бечевки лучинку, а потом три-четыре крючка, после них груз — и опускай на дно крючки с наживкой. Другой же конец бечевки привяжи за палку, поперек проруби положи. Вот и все. Но я прямо скажу: кто такой рыбалки не испытал, тот и горя не видал.

Крючки на морозе к пальцам прилипают, а на них ведь еще надо надевать живых гальянов. Гальяны — рыбки маленькие. Они брыкаются, из пальцев выскальзывают. Но и

это еще полгоря. Горе, когда на каждый крючок налим попадется. Зимой в мороз налим шустрый. Наживку берет сильно и заглатывает крючки так, что морока сплошная вытаскивать их из налимьего брюха.

Дед мой радехонек, когда выворотит из проруби налимов величиною с полено.

— Попали, поселенцы, попали! — ликует он и командует мне: — Помогай сымать!



А где уж тут снимать, у меня и без того руки не гнутся. Но с дедом спорить не станешь. Он у меня не переваривал плакс и слюнтяев, нрава был не только веселого, но и крутого, в случае чего — наподдает и жаловаться бабушке запретит.

И вот засовываю я пальцы в широченную пасть налима, вынимаю из самого нутра ее крючок, а налим извивается, выскальзывает. Сниму одного налима — и со злом в снег его тресь! Поизвивается, поизвивается налим, да так скрюченный и застынет. Берусь за другого, ругаюсь, хнычу, а дед мне:

— Терпи, казак! В руках налима держать — что! Мне вон в зубах его, подлого, держать приходилось. Вот это да!..

Один раз отрыбачились мы с дедом, сбросали рыбу мерзлую в мешок — и домой. С мороза я к печке сунулся. Тем временем бабушка рыбу вывалила в деревянную лохань, и воды в нее налила. Возле печи у меня заныли пальцы так, что я не выдержал и завыл во весь голос. Бабушка на деда напустилась:

— Заморозил ребенка, одноглазый черт!

Тот ухмыляется:

— Ничего. Пусть с детства закалится — рыбаком будет!

Бабушка ещё ругнула деда, а мне говорит:

— Ты руки-то в воду, вот сюда, в лохань погрузи.

Я сунул руки в холодную воду, и легче мне стало.

Держу пальцы растопыренными в воде, и вдруг чудится, будто под ними что-то шевелится. Выдернул руки, глянул — и глазам своим не верю. Смотрю, а один замороженный налим хвостом по воде раз — аж брызги полетели. Ну и чудеса! Затем другой, третий налим в лохани заворочались, шлепоток такой поднялся, брызги летят. Самый крупный налим до того разбушевался, что даже из лохани вывалился. Дед на него пальцем указал и изрек:

— Этого, самого прыткого, сейчас же на сковородку! А я тем временем в лавку сбегаю — не любит налим посуху плавать.

С этими словами дед исчез, хотя бабушка и пыталась доказать ему, что налиму вовсе теперь безразлично, где плавать — посуху или помокру, потому как, очумелый, он только из-за живучести своей великой не околел насовсем.

Но дед не внял ее словам.

Воспитательный прием

И вот сидит мой дед за столом, пьяненький, веселый, добрый. Я пристаю к нему:

— Деда, расскажи, как ты налимов в зубах держал? Расскажи...

Дед глаз сощурил, усы свои разгладил и неожиданно захохотал, что-то вспомнив, а потом поведал мне такую историю.

На Енисее ледостав идет долго, потому что река эта большая и бурная. Сначала забереги светлые образуются, а по-

том уж шуга поплывет. Под забереги подваливает рыба. В это время ее и глушат. Идут по льду и смотрят, как сквозь стекло. Увидят рыбу, хлоп обухом топора по льду — рыба-то и всплывает кверху брюхом. Сейчас такой способ добычи запрещен, а раньше он был в большой моде.

Дед мой учился в церковноприходской школе и был, судя по всему, отменным озорником. Отправился он как-то в школу, да не удержался — вместе с приятелем к реке свернул. Заглушили они несколько ельцов и двух налимов, спрятали их за пазухи и скорее в школу подались. Но на урок опоздали. А первый урок был как раз закон божий. Постучались приятели в класс:

— Можно, батюшка?

Тот им разрешил войти. Спросил, конечно, почему опоздали. Дед что-то врать принялся, но в это время за пазухой у него завозился угревшийся налим. Ожил не ко времени. Поп это заметил и спрашивает:

— Что у вас, чады, под лопотиной трепещется?

— Голуби, батюшка, — не моргнув сбрехнул мой дед.

— Голуби? — почесал свою сивую бороду поп да как рявкнет: — Что же вы, анафемы, божью тварь мучаете? Выпустить!

Вынули приятели из-за пазухи своих «голубей». Узрел налимов поп и вовсе остервенился, ногами затопал:

— Еретики! Богообманщики! Покараю!

Ну, думает дед, насыплет сейчас поп гороху сухого на пол и велит на него коленками встать. Однако поп не поставил приятелей на горох. Он им этак ласково проговорил:

— А возьмите-ка, рабы божьи, своих «голубков» зубами за хвосты и подержите их до конца урока. Зело поучительное занятие...

Стоят «рабы божьи» с рыбинами в зубах. И налимы-то, как нарочно, попались тяжелые — никак их невозможно долго держать!

У деда налим вырвался из зубов, шмяк на пол, а поп, не поворачивая головы, проворковал:

— Подыми, подыми, чадо, рыбину. Совсем немного держать осталось, — он посмотрел на карманные часы и добавил: — Всего осьмнадцать минут...

Рассказал все это дед, и мы с бабушкой закатились хохотом. Дед не смеялся, он был серьезен. Дед вилкой в сковородку ткнул, на которой лежала широкая налимья голова, и сказал:

— Я попов с тех пор готов заживо сожрать, а поселенца по сей день без водки не приемлю — воротит...

Но тут бабушка выразила протест и заявила, что это дед своего рода «политику» придумал и что насчет второй полбутылки у него ничего не выйдет.

Любопытной Варваре...

Стал настраивать мой дед жерлицу. Тут же, возле лодок, где и воду для питья брали, и белье полоскали, и выбрасывали рыбьи отходы.

— Ну кто тебе здесь попадется? — смеялись над дедом мужики.

А дед себе на уме. Пристроил жерлицу, небольшого карасика на крючок наладил. Очень живучий карась, дня три на крючке будет маяться, пока уснет.

Спустились мы утром на берег, смотрим: что такое? Вся бечева на рогульке жерлицы распущена и кто-то водит из стороны в сторону толстую лесу.

— А-а, попалась! — закричал дед. — Я давно заприметил, что щука здесь прикормилась. Днем не показывается — на глубине стоит, а вечером подбирает все, что мы в воду накидаем.

Схватил дед удилище, потянул, но его как дернет — дед и с ног долой. Удилище он впопыхах выпустил. И видим мы: ныряет оно уже далеко от берега. Дед из воды выскочил, кричит:

— Матерая, язва! Догоняй!

Столкнули мужики лодку и на веслах помчались за щукой. А она уже далеко, то утянет толстое сырое удилище совсем в воду, то ослабеет и наверх подымется.

Долго возились мужики со щукой, но все-таки вытащили ее из воды, оглушили веслом и привезли.

Лежит на камнях она, здоровенная, страшная. Взялись ее взвешивать — восемнадцать килограммов! Зверь — не рыба! Я подошел к щуке. Она жаберными крышками тяжело хлопает, глаза выпучила. Под крышками у нее словно угли светятся. Взял я и засунул под крышку палец — пощупать, что оно там такое, а щука захлопнула крышку и не растворяет. Впились в мой палец зубья, как шилья. Больно, моченьки нет. Но я стою со скучающим видом и не реву — жду,

когда рыбина снова начнет дышать. Стою минуту, две, три — не выпускает палец щука. Тут я не выдержал, завопил:

— Отпусти-и-и!

Прибежал дед, увидел, что щука в плен мою руку взяла, и дал мне подзатыльника:

— Не суйся куда не следует! Не суйся!..

Высвободил он мне руку. Из пальца кровь льет — просекла его щука в нескольких местах. Оказывается, у старой щуки зубы не только во рту, но и на жабрах имеются. Эти жабры я и видел — красные, как угли. А дед мне говорит:

— Слыхал поговорку: «Любопытной Варваре нос в двери прижали»? Ну вот, теперь знать будешь, как без толку любопытствовать!

ДВЕНАДЦАТЬ ПАТРОНОВ И НИ ОДНОЙ ГАГАРЫ

Живет за полярным кругом птица — гагара. По виду она напоминает утку, но только голова у нее узенькая, туловище клином, а лапы возле самого хвоста. Ходит по суше гагара совсем плохо и потому гнездо делает возле самой воды, чтобы в случае опасности сразу же нырнуть.

До войны наша семья жила недалеко от Игарки, на берегу Енисея. Дед мой и отец заготовляли дрова для пароходов (тогда в топках некоторых пароходов сжигали дрова).

И вот неподалеку от нашей избушки поселились на озере две гагары. Жили там утки, но никакого беспокойства нам не причиняли. А эти — ну просто извели. На озере сидят — стонут жалобно, будто где лесиной ребенка придавило; летят — крякают так, словно ржавой пилой крепкий сук пилят. Дед мой был человек беспокойный, спал вообще плохо, а тут еще гагары стали его донимать. Вовсе дед сна лишился. Ругается.

Я говорю:

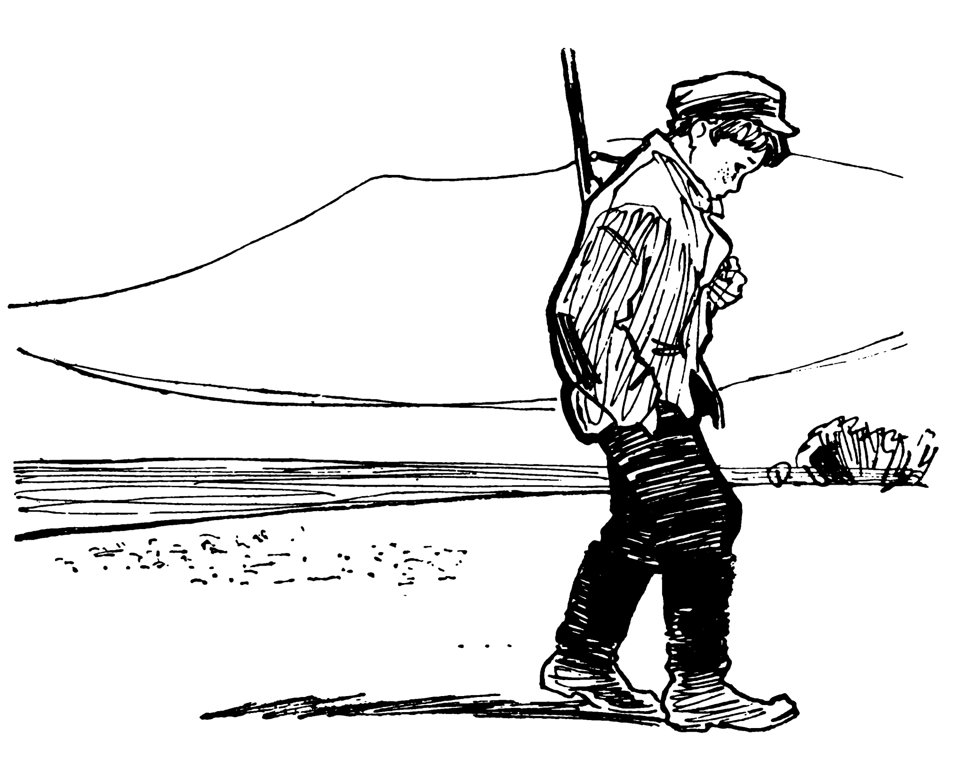
— Застрели, дедушка, гагар.

Он на меня глянул одним своим глазом и усмехнулся:

— Больно прыткий! Попробуй сам застрели, а я, брат, не берусь за это дело.

Ну, думаю, если ты не берешься, так я возьмусь. Снял со стены патронташ, ружье прихватил и подался на озеро.

Утки, какие были на озере, поднялись и улетели, а гагары плавают себе и внимания не обращают на меня. Подождал



я, как они сплывутся вместе, трахнул из ружья — гагар как не бывало. Только круги по озеру расплылись. Стало быть, поторопился, промазал.

Жду.

Раз! Одна гагара вынырнула, под самым моим носом. Бух я ее вторично. Нет гагары, исчезла. Гляжу, другая гагара на воде появилась — самец.

Стукнул я по нему, но тоже не тут-то было.

Зло меня взяло. Так вблизи плавают птицы, и я попасть не могу! Раньше стрелял уток запросто, а тут промахиваюсь. Сейчас-то, думаю, не буду торопиться, прицелюсь как следует и так дам, что опрокинется гагара лапами кверху.

Только гагары тоже не дуры. Высунут голову из воды, вдохнут воздух и — кувырк, опять исчезают. А я по ним палю, я палю. Гляжу: на воде перья плавают, а птицы ныряют себе.

Было у меня двенадцать патронов — все выстрелил. Если бы еще двенадцать было, я бы и те сжег, в такой азарт вошел.

Прибрел я домой растерянный, ружье бросил. Дед за патроны меня побранил крепко, а потом успокоился и сказал:

— Дурья башка! Не берет ведь гагару дробь-то.

— Как не берет?

— У нее очень плотное перо и кожа такая, что дробь не просекает. Нужно попасть в голову. А голова-то у нее — видел какая? Меньше бутылочной пробки. Из малопульки надо бить эту птицу. Малопульки же у нас с тобой нет. Да и добудешь гагару, так ни к чему. Надо ее варить три дня в русской печке, а потом собакам выбросить. Мясо-то у нее гольной рыбой пахнет. Правда шкурка у нее ценная...

И тут дед рассказал мне, что гагару отеребить невозможно. Ее обдирают, как белку. Потом шкурки гагары выделывают и шьют из них чулки. Говорят, самые теплые и прочные чулки из гагарьих шкурок получаются...

ИЗБА КРЕСТЬЯНСКАЯ,
ХОМУТНЫЙ ЗАПАХ ДЕГТЯ.
БОЖНИЦА СТАРАЯ,
ЛАМПАДЫ КРОТКИЙ СВЕТ.
КАК ХОРОШО,
ЧТО Я СБЕРЕГ ТЕ
ВСЕ ОЩУЩЕНЬЯ ДЕТСКИХ ЛЕТ.

Сергей Есенин



Страницы детства



ЗОРЬКИНА ПЕСНЯ

Бабушка разбудила меня рано утром, мы пошли на увал по землянику. Огород наш упирался крайним пряслом в увалы, и через жерди его переваливались ветки берез, осинок, сосен. А одна черемушка да две боярки и вовсе перебрались через городьбу и разрослись на меже среди крапивы и конопляника. Их никто не трогал, и на них вили гнезда птички.

Мы с бабушкой перелезли через мокрые от росы жерди и пошли по распадку вверх на увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег и камешник в наш огород, а потом иссяк и утихомирился. И сейчас путь его обозначал только до блеска отмытый камешник.

В распадке уютно дремал туман и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и все крепче, крепче сжимала ее, словно боялась, что я могу вдруг исчезнуть в этой обволакивающей белой тишине. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Под ногами шуршала мелкая ершистая травка, изредка в ней желтели шляпки маслят.

Местами мы низко пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку или густые кусты. По ветвям на тонких ниточках висели белые цветы — дедушкины кудри. Мы запутывались в них, и тогда из чашек цветов выливалась мне за воротник и на голову студеная роса. Я вздрагивал и ежился.

Бабушка вытирала мою стриженую голову ладонью или краешком платка, с улыбкой подбадривала, говоря, что от росы да от дождя люди растут большие-большие.

Но вот мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и побрели по нему, как по мягкой, податливой воде. Мы выбредали из тумана медленно и бесшумно. Вот он уже по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов плеснулось что-то яркое и заискрилось, заиграло в лапках пихтача, сосняка, на камнях, на валежинах, на упругих шляпках молодых маслят и в каждой травинке.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была начеку: «Тить-тить-ти-ти-рри-и...».

— Что это, баба? — спросил я шепотом.

— Это зорькина песня.

— Как?

— Зорькина песня. Птичка — зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает...

И правда, на голос зорьки (так в наших краях называют зорянку) ответило сразу несколько голосов — и пошло, пошло! Со всех сторон, с земли, с неба, с сосен, с берез на нас сыпались искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьи голоса. Их было много, и голоса были один звонче другого, и все-таки зорькина песня слышалась громче, яснее других!

Зорька улавливала какие-то мимолетные, почти незаметные паузы и вставляла туда свое: «Тить-тить-ти-ти-рри-и!»

— Зорька поет! Зорька поет! — закричал я и запрыгал неизвестно отчего.

— Зорька поет, значит, утро идет, — сказала бабушка, и мы поспешили навстречу этому утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов. Нас провожали и встречали птичьи голоса; нам низко кланялись обомлевшие от росы и притихшие от песни сосенки и елочки, рябинки и березки.

В росистой траве уже загорались красные огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую, еще только с одного бока опаленную ягодку и осторожно опустил

в бокал. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарею, заметавшейся по всему небу.

А птицы все так же громко и многоголосо славили утро и солнце, и зорькина песня, песня пробуждающегося дня, вливалась в мое сердце и звучала, звучала...

ПО СЕНО

По сено собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольча-младший, как его все зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топорищами по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикручивают. Я и мой сродный брат Алешка крутимся во дворе. Мы чего-нибудь подаем, поддерживаем, а больше находимся не у дел — глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя.

У нас одна лошадь, саней же подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса. К ним пристыла серая, летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжели полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. Все ясно — еще две лошади будут. Их возьмут у соседей или у родственников.

Мы ждем. Вот Кольча-младший взял две оброти — так у нас называют узды, закинул их на плечо, высморкался, вытер пальцы о загнутые катанки и пошел со двора.

Мы — за ним. Кольча-младший нас не прогоняет, но и не приглашает. Он идет по улице, насвистывает. Концы холщовой опояски, выпущенные «для форса», болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек Кольча-младший, он не прогонит нас домой. Кольчей-младшим его зовут оттого, что у бабушки и дедушки было столько детей, что всем, видно, разных имен и не хватило, потому и есть у нас Кольча-старший, а этот вот Кольча-младший.

Сейчас в семье остался только он да мы с Алешкой. Мы оба сироты. У меня уже второй год нету матери и отца, у Алешки отца нечаянно застрелили на охоте, а мать завербовалась на лесозаготовки. Алешка в нашей семье особый человек — он глухонемой.

Говорят, он чего-то испугался ночью, петуха, что ли, и онемел, хотя бабушка точно помнила, как он уже лопотал «мама, папа». Алешку все жалеют, а я его люблю, и мы с ним деремся. Алешка сильный и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас, и мне дает затрещину, а Алешке только пальцем грозит. Алешку никто не трогает, кроме меня, потому что он и без того «богом обиженный». Но мне-то на



это наплевать. Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе и вот за конями идем вместе.

Коней этих, Лысуху и Гнедого, младший Кольча выводит со двора старшего Кольчи. Мы ждем у ворот. Кольча-младший дает мне Лысуху. Я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда, сверху ныряю брюхом на выгнутую, широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу — шалишь, кобыла, не тут-то было!

Алешка трусит впереди меня на Гнедке и хохочет, зали-

вается — весело дурачку! Мы спускаемся по крутояру на Енисей. Кони скользят на облитой, заледенелой дороге, скрежещут подковами. Алешка перестает повизгивать и хохотать. Кольча-младший маячит ему, чтоб он схватился за гриву Гнедка. А я это же делаю без указаний.

Лошади сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных, сверкающих от мороза, торосах. Самые высокие тороса на середине Енисея. Там сильное течение, там лед мчит, так уж мчит, когда встает река. У берегов забереги гладкие, ровно зализанные снежной поземкой. Проруби на широкой, заторошенной реке — как живые островки, и к ним весело идут кони.

Прорубь, к которой мы подъехали, кругом занесена снегом. За елками и сугробами, наметенными вокруг, — темная широкая щель. В ней клубится, бурлит темная вода. Кто-то ворочается там, подо льдом. Лошади, широко расставляя передние ноги, осторожно подходят к проруби. Я не дышу. А ну как Лысуха ухнет туда, в эту темную, злую воду? Конечно, Лысуха не пролезет в такую щель, но я-то запросто пролезу — и ищи-свищи!

Лысуха пьет, и Гнедко пьет. У Алешки испуганное лицо, и он уже, как видно, не рад, что пошел за конями. И я не рад. А Кольча-младший держит обеих лошадей за оброти и протяжно, мелодично посвистывает, и под этот свист Лысуха с Гнедком тянут, тянут воду. Вот они подняли головы, дышут, осматриваются. На темной морде Гнедка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у Лысухи тоже стекленеют от мороза волоски, торчат иголками.

Лошади еще раз ткнулись мордами в прорубь и ровно бы с сожалением отвернулись.

Вот теперь-то настало самое главное! Страшная прорубь осталась позади, и Кольча-младший, отломив ветку от елки, хлещет по заду Лысуху и Гнедка. Лошади берут в рысь. Нас с Алешкой закидывает взад, и мы с трудом удерживаемся на конях. Мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и оброти, а потом уж гарцуем смело, как будто балуясь. Ребятишки катаются на Енисее и завидуют нам. Некоторые даже бегут следом и кричат разные слова. А мы скачем, а мы скачем! Еще до дома далеко, еще только в переулок въехали, а я уж кричу что есть мочи:

— Деда! Открывай ворота!

Алешка тоже что-то кричит по-своему.

Дедушка распахивает ворота и машет, чтобы мы пригну-

лись — иначе сшибет матицей ворот. К великому нашему удовольствию, лошади на рыси вбегают во двор, и тут мы получаем полную плату за все радости. Лысуха с ходу останавливается. За нею Гнедко останавливается, и сначала я, а потом и Алешка летим через головы в снег, и барахтаемся там, ослепленные, задохнувшиеся. И пока выбираемся из сугроба, дед с ухмылкой уводит лошадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, заглядывая в чуть вытаявшее кухонное окно, тоже беззвучно трясет беззубым ртом. И мы начинаем похохатывать, будто и нам весело.

В конюшне раздается визг, стук — это Лысуха устраивается, лягает нашего коня с грозным названием — Ястреб. Кольча-младший грозно кричит:

— Я тебе, волчица ободранная! — И Лысуха усмиряется.

Дед еще раз обходит сани, у которых связанные перетягой оглобли целятся в небо, пинает по заверткам, бросает в одни сани вилы деревянные и железные, а также грабли, привязывает бастриги, и в передок одних саней вставляет звонкий топор, который я недавно лизнул и оставил на нем кусочек языка. Теперь уж лизать не буду.

Все. Надо идти в избу. Кольча-младший обметает голиком катанки, еще раз сморкается на сторону, и дед делает то же, а мы уж следом все повторяем.

Ужинают сегодня рано и спать ложатся тоже рано. Нам спать еще не хочется, но мы послушно лезем на печь. Я в который уж раз напоминаю деду:

— Не забудешь, дедушка?

— Не-не, — гудит он снизу.

Дед самый надежный человек в этом доме. Он-то уж не обманет. Раз обещал взять по сено, значит, возьмет.

Тихо в доме. Только слышно, как ворочается на скрипучей деревянной кровати бабушка, которую донимает болезнь — ревматизм. В горнице покуривает да покашливает Кольча-младший, не привыкший так рано ложиться, потому что по вечеркам бегает и домой приходит с петухами.

— Баб! — зову я.

Бабушка не откликается, но я-то слышу, что она не спит.

— Баб!

— Ну какого тебе дьявола?

— Ты катанки сушить положила в печку?

— Положила, положила, спи!

— И Алешкины тоже?

— И Алешкины. Спи!

Опять тишина. Окна закрыты ставнями, темнота в избе, как в подполье. Шуршат тараканы на печи, щекочут ноги.

— Баб?

Никакого ответа.

— Ба-аб!

— Я вот встану, я вот подымуся! — грозится бабушка.

— А ты варежки-то зашила?

— Утресь зашью, спите!

Алешка не дышит, вникает в разговор и, хоть ничего услышать не может, все же понимает, видно, что я беспокоюсь о завтрашней поездке по сено. Он обнимает меня и давит мою шею крепко-крепко. Это он благодарит меня за все тревоги и хлопоты. И я не отталкиваю его. Если бы у него был язык, он сказал бы, а так обнимает, жмет, и все тоже понятно. Но вот Алешка глубоко вздыхает, и руки его разнимаются, слабеют. Уснул Алешка. Намаялся, набегался и уснул. А я еще ворочаюсь некоторое время, шуршу лучиной, подкладываю под подушку старые дедовы катанки, чтоб было выше, удобнее, и бабушка снова приглушенным шепотом грозится:

— Ты будешь спать, окаянный?

Я затихаю. Думаю о Лысухе, о темной проруби. В глазах моих начинают мелькать елки, пихты — это дорога меж торосов по Енисею, это мы уже едем по сено, и кони трусят, пофыркивают, и сани скрипят мерзлыми завертками, и полозья повизгивают, и напевает что-то Кольча-младший. И все бежит, бежит зимняя дорога по Енисею, потом по лесу, с горы на гору, с горы на гору.

По сено у нас ездят далеко, за пятнадцать-двадцать верст. Покосов возле деревни нет. Наша деревня на самом берегу Енисея, среди увалов и скал. Покосы на Фокинской речке, на малой и большой Слизневке. А наш покос на Манской речке. Манская речка впадает в реку Ману, а Мана в Енисей. Мы летом были с Алешкой на покосе, ловили хариусов в речке, гребли сено, купались. А зимой мы на покосе никогда не были. Далеко и морозно. А какой он, покос, зимою? Кто там живет? Зайцы живут. Лисы живут. И медведи живут. Они караулят наше сено и не пускают к нему диких коз. Если козы съедят зарод, что тогда останется корове? Но медведь их не пустит к зароду. Да и увезем мы сено. Сложим на сани в большой-большой воз, до неба, и увезем. Я буду сидеть на самом высоком возу, и Алешка тоже. А дедушка и

Кольча-младший будут идти сзади, курить, на лошадей покрикивать.

Мы едем по сено. Едем, едем, едем...

Бр-р-рам! — повалился я с воза, подскочил и головой об потолок — аж искры из глаз сыпанули. Никакого воза нет. Я на печке. Алешка рядом спит. Бабушка на кухне, по-деревенски в кутье, уронила пустую подойницу и ругает кошку. Всегда кошка во всем виновата.

Я с печки долой, заглянул в горницу — кровать Кольчи-младшего закинута одеялом. Я на полати — деда нету. Глянул на вешалку — дох нету. И понял все. И запел.

Бабушка занимается своими делами, гремит кринками и не слышит. Я прибавляю голосу. Никакого толку. Я лезу на печку и сердито толкаю Алешку. Он с минуту бестолково смотрит на меня.

— Ме-ме-ме! — дразню я его, будто он виноват в том, что мы проспали. И тогда Алешка тоже ударяется в голос. А ревет он протяжно, как бык: «Бу-у-у!»

— Ии-я вот вам поору! — наконец не выдерживает бабушка. — Ишь чего удумали! По сено ехать! Сопли-то к полозьям приморозите, кто отдирать будет?

— А зачем тогда сулили-ли-и? — реву я.

Алешка тянет:

— Бу-у-у! — Разговаривать-то он не умеет, поддерживает меня только ревом. Бабушка снова не обращает на нас внимания. А у нас уже слезы кончаются. Алешкино «бу-у-у» звучит уже еле-еле.

Я высовываюсь из-за косяка середней:

— Зачем тогда сулили-и-и?!

— Ты это чего же на бабушку родную зубы выставляешь, а? — грозно оборачивается бабушка.

— Ничего-о-о!

— Ступай стайку чистить и ори там.

— Не пойду-у-у!

— Как это не пойдешь?

— Не пойду-у!

— Я вот тебе не пойду! — хватает бабушка полотенце и вытягивает меня по спине. Вконец обиженный и несчастный, я лезу обратно на печку и заворачиваюсь в старый полушубок.

— Трескать идите, обозники! — через некоторое время насмешливо зовет нас бабушка. Я не отзываюсь. Алешка трясет меня за плечо. Я отбрасываю его руку. Пропадите все вы

пропадом вместе со своей едой! Не стану есть, тогда узнаете!

— Я кому сказала — ись ступайте! — повышает голос бабушка. — Есть мне времечко с вами валандаться! У меня делов под завязку. А ну, слазьте с печки!—И она бесцеремонно стаскивает с печки Алешку, а потом и меня, мне еще и тычка дает вдобавок.

Мы нехотя усаживаемся за длинный, как нары, кухонный стол. Сегодня мужиков дома нет, и поэтому в середней не накрывают.

— А умываться кто за вас будет? — спрашивает бабушка. — Ну, вы у меня достукаетесь, вы у меня достукаетесь, — обещает она. — Эк ведь они, кровопивцы, у́рос развели! Шагом марш к рукомойнику!

Согнали сонную вялость ледяной водою, и веселее стало. Едим картошку в мундирах, парным молоком запиваем, и нас еще нет-нет да и встряхивают угасающие всхлипы. Бабушка, пригорюнившись, смотрит на нас и уже подобревшим голосом говорит:

— Дурачки вы, дурачки! Еще наробитесь, еще наездитесь! Какие ваши годы! Вот подрастете — и по сено вас возьмут.

— На будущий год, да? — примирительно спрашиваю я у бабушки.

— На будущий год уж обязательно. На будущий год вы уж во какие большие будете!

Я показываю Алешке палец и толкую, что в будущем году нас уж точно возьмут по сено, и он кивает головой. Рад Алешка, и я тоже рад. И мы весело бежим на улицу, убираем навоз из стайки, пехалом выталкиваем снег со двора, разметаем дорогу перед воротами. Мы готовимся встречать деда и Кольчу-младшего с сеном. Мы будем карабкаться на воз, таскать и утаптывать сено.

То-то потеха будет!

Скорей бы уж приехали дед и Кольча-младший.

Бабушка отстряпалась, сунула нам по пирогу с капустой, загнала нас на печку и вымыла пол, вытряхнула половики, и в доме стало свежо и светло.

Целый день бабушка была в хлопотах, будто перед праздником. И только после того, как второй раз подоила корову, процедила молоко и на минуту присела возле окна, буднично сказала:

— Господи-батюшко, умаялась-то как! — И тут же, поглядев в окно, озабоченно вскочила: — Ой, чего-то мужиков как долго нет? Уж ладно ли у них?

Она выбежала в улицу, поглядела, поглядела и вернулась:

— Нету! Ох, чует мое сердце нехорошее. Может, конь ногу повредил? Эта Лысуха, эта язва с гривой! Говорила, не брать ее — уроса, так не послушались, взяли. Вот теперь и надсажаются, небось...

Так бабушка ворчит, строит догадки и то и дело выбегает на улицу. Потом у нее возникают новые дела, и она заставляет нас выбегать на улицу. Когда уже совсем завечерело, бабушка сделала окончательный вывод:

— Так я и знала! Так я и знала — эта Лысуха им очки вставит. Сколько я говорила старшему-то Кольче: «Не покупай эту кобылу, не покупай! У нее глаз-от, как у ведьмы...» Так разве мать послушают! Ой, тошно мне, тошнехонько! Ладно, если на Усть-Мане заночуют, а что, как в лесу, в этакую-то стужу! Ребятишки! Вы каково дьявола задницы на печи жарите! А ну ступайте на Енисей, поглядите. И сидят, и сидят! То домой не загонишь, а тут сидят...

Мы бежим на Енисей. Видим обоз, тихий, мерный, усталый. Он поднимается по взвозу, к дому заезжих, а наших нет. Спрашиваем обозников: не видели ль дедушку и Кольчу-младшего? Но обозники верховские. Они ехали по той стороне Енисея и не обратили внимания на другую дорогу.

Бабушка встретила нас еще в сенках:

— Ну?

— Нету. Не видать.

— Ой, тошно мне! Да что же это такое? — Она всплескивает руками, семенит в горницу и там, у образов, нашептывает: — Мать пресвятая богородица! Спаси и сохрани рабов божьих, пособи им сено довезти, не изувечь, не изурочь. И Лысуху, Лысуху усмири!..

В доме наступает полное отчаяние. Бабушка всплакнула в фартук. Мы было взялись поддерживать ее, но она прикрикнула на нас:

— А вы-то чего запели? Может, еще и ничего такого нет! Может, просто задержались, воз завалился, либо что? И нечего накаркивать беду!..

И когда мы уже устали ждать и зажгли лампу и утешались только тем, что наши заночевали на Усть-Мане, бабушка глянула в окно и порхнула оттуда к вешалке:

— Ребятишки, вы каково лешака смотрели? Мужики-то уж выпрягают!..

Нас как ветром сдуло с печки. Надергиваем валенки на босую ногу, бросаем шапчонки на головы и что под руку попало — на себя, выкатываемся во двор. А во дворе теснотища невиданная. Три воза сена загромоздили его, и ворота настежь. Я с ходу к дедушке, ткнулся носом в его холодную, мохнатую собачью доху с одной стороны, а Алешка с другой. Бабушка ворота запирает и, как ни в чем не бывало, спрашивает:

— Чего долго-то?

— Дорога в заметах. В Манской речке версты две целик протаптывали, — отвечает Кольча-младший тоже буднично. Он выпрягает Лысуху и покрикивает на нее. Дедушка молча потрепал нас по шапкам и отстранил.

— Деда, а деда, а сено сегодня будем метать или завтра? — спрашиваю я.

— Сегодня, сегодня, — отвечает за него Кольча-младший, и мы от восторга визжим и скорее, скорее уносим под навес дуги, сбрую, и лезем везде и всюду, и на нас ворчат мужики и даже легонько хлопают связанными вожжами. Кольча-младший вилами один раз замахнулся. Но мы не боимся вил — это острая орудья, и ей ребят не бьют, а только замахиваются. И мы дурим, не слушаемся, лезем на возы, скатываемся кубарем с них в снег.

— Ну, вы дождетесь, вы дождетесь! — обещают нам то бабушка, то Кольча-младший, лишь дед помалкивает.

Коней закидывают попонами и уводят в конюшню. Оглобли саней связывают. Сыромятные завертки, растянутые возами, отходят, потрескивают, а на санях белый-белый лесной снег. Все видно хорошо, потому что в небе студеная, оцепенелая луна и множество звезд, и снег всюду мигает искрами.

Приходят Кольча-старший, два его сына и тетка Апроня. И начинается шумная работа. Отвязывают бастриг на первом возу, и он, спружинив, подскакивает и целится в луну, как пушка. Воз темным потоком хлынул на снег и занял половину двора. Второй воз свален, третий свален. Сена — гора! Откуда-то взялась корова. Ест напропалую. Отгонят с одного места, она из другого хватает — у нее тоже праздник. Собака забралась на сено. Ее вилами огрели. Нельзя собаке на сене лежать — корова сено есть не станет. Собака горестно взлаяла и под навес убралась.

А мы уже на сеновале, и бабушка с нами. Нам дали самую главную работу — утаптывать сено. Мы топчемся, падаем, барахтаемся. Мужики бросают огромные навильники в темный сеновал и ровно бы ненароком заваливают нас. И так жутко станет, когда ухнет на тебя навильник, что рванешься, как из воды, наверх и поплывешь, и поплывешь. И еще не успеешь отплеваться от листьев и трухи, забившей рот, — снова ух на тебя шумный навильник. Держись, ребята, не тони!

— Ребятишки, вы живые там? — весело спрашивает бабушка.

— Живы!

— Упрели, небось?

— Не-ет!

А какой там нет. Я уж весь мокрый, и Алешка, наверное, тоже. Но мы топчем, топчем сено, плаваем в нем, барахтаемся и дуреем от густого, почти угарного запаха сена.

Перекур. Мы в изнеможении падаем на сено и проваливаемся в нем по маковку. Мужики курят во дворе, тихо говорят о чем-то. А бабушка стряхивает платок.

— Баб? — окликаю я ее. — Ты можешь сейчас траву узнать или цветок?

Бабушка у нас все травы и цветки знает наперечет. И знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету, и какая трава от какой болезни — тоже знает. И все деревенские ходят к ней лечиться от живота, от простуды и еще от чего-то. Вот только самой ей некогда болезни свои вылечить.

— Ну где же я в потемках-то различу, — отвечает бабушка, но таким тоном, что нам совершенно ясно — это она скромничает. Так оно и есть. Пошарив подле себя рукой, она подзывает нас и показывает при лунном свете, падающем в проем дверей сеновала:

— Вот это осока. Ее легко отличить, она жестка, с шипом и почти не теряет цвету. В Манской речке ее много. А вот эта, — отделяет она от горсти несколько былинок, — метличка. Ну, ее тоже хорошо различить. Метелочки на концах. А это вот, видите, ровно спичка сгорелая на кончике. Это купальница — цветок.

— Жарок, да?

— По нашему — жарок. Завял он, засох, и краса вся его на земь обсыпалась. И люди вот так же, пока цветут, краси-

вы, а потом усыхают, морщинятся и в бабушек превращаются. Короток век у цветка, но ярок, а человечья жизнь долгая, да цвету в ней не лишка...

Ух и любим мы нашу бабушку, когда она вот такая добрая, умная и все говорит, рассуждает. Мне кажется, даже Алешка понимает все, что она говорит.

Девятишар, чебрец, купырь, кошачья лапка, кашка, ромашки и много-много пырея переселилось из леса на наш сеновал. А я вот еще и земляничку нащупал, потом другую, третью. Свою я съел вместе со стебельком — ничего не случится. А ту, что бабушке отдал, она лишь понюхала и протянула Алешке. Алешка съел две ягодки, заулыбался.

Я хотел еще поискать, но в это время проем дверей заткнули навильником сена, сделалось темно, и снова пошла работа.

И вот всё. Сани заведены под навес, корова водворена на место. Бабушка граблями подбирает раскрошенное по двору сено, кидает его лошадям. Мужики ставят вилы, грабли, забирают дохи и, постукивая об ступени катанками, идут в избу. Катанки мерзло повизгивают, скользят на крашеном крыльце.

Вместе с мужиками в дом вваливается много холода и чужого запаха от собачьих дох. Но все их забивает сквозной, всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывает сосульки с усов, с бороды и кидает их под рукомойник. Бабушка сбрасывает с печи старые, пыльные катанки.

Тетка Апроня хлопочет у стола, и пока переодеваются и переобуваются дедушка и Кольча-младший, на столе уже все готово. Кольча-младший полез было за кисетом, да бабушка заворчала на него:

— Хватит табачище-то жрать натощак. За стол ступайте, а потом уж жгите зелье это клятое сколь влезет!

Мы уже за столом, в переднем углу оставили место только деду. Это место свято, и никто не имеет и не имел право его занимать. Кольча-младший глянул на нас, рассмеялся:

— Видали, работники-то уж начеку!

Все со смехом усаживаются, гремят табуретками и скамьями. Нет только деда. Он возится на кухне, и нетерпение наше возрастает с минуты на минуту. Ох уж медлительный у нас дед! И говорит он пять или десять слов за день. Все остальное за него обязана говорить бабушка, так уж у них повелось издавна.

Вот и дедушка. В руке у него холщовый мешочек. Он медленно запускает в него руку, а мы с Алешкой напряженно подались вперед и не дышим. Наконец дедушка достает обломок белого калача и с доброй, ласковой улыбкой кладет перед нами:

— Это вам от зайца.

Мы хватаем калач. Он мерзлый, как камень. Мы по очереди пытаемся откусить от него хоть маленько. Я показываю Алешке пальцами уши над головой, и он расплывается в улыбке: он понял — это от зайца.

— А это от лисы! — подает нам дедушка наливную, зарыжевшую от печной жары шаньгу.

Кажется, наступила вершина наших чувств и восторгов, но это еще не все. Дедушка снова лезет рукою в мешочек и долго-долго шарит там. Он тихо улыбается в бороду и хитровато поглядывает на нас. А мы уж и без того готовы. У меня сердчишко остановилось было, а потом затрепыхалось, затрепыхалось, и в глазах уже рябит от напряжения. А дед томит. Ох, томит! «Ну, дедушка! — хочется крикнуть мне. — Чего ж у тебя там, чего?» И тут дед вынимает кусок вареного стылого мяса, облепленного крошками, и торжественно кладет его перед нами:

— А это уж от самого мишки! Он там сено наше караулил.

— От медведя! — вскакиваю я. — Алешка, это от медведя! Бу-бу-бу! — показываю я ему, надуваю щеки и грозно насупливаю брови. Алешка понял меня, захлопал в ладоши. У нас одинаковое с ним представление о медведе.

Ломаем зубы, грызем мерзлый калач, шаньгу, мясо, оттаиваем подарки языком, ртом, дыханием. Восторгу нашему нет предела. Все дружелюбно поглядывают на нас, подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка несердито выговаривает деду:

— Потеху отдал бы потом. Ведь останутся ребятишки без ужина.

Да, мы, конечно, так ничего и не поели. С замусоленным огрызком калача и плиточкой шаньги мы залазим на полати. На печке сегодня спит дедушка — он с холода. Я держу в руке холодный, постепенно раскисающий кусочек калача, Алешка — кружок шаньги. Так мы и засыпаем с лесными подарками в руках.

Нам снятся в эту ночь диво-дивные сны.

ГУСИ В ПОЛЫНЬЕ

Ледостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В заливчиках и заводях они широкие, на быстрине — узкие, трепещущие. Но после каждого морозного утра они становятся все шире, а потом начинает плыть шуга. И тогда вся река шуршит печально, утихомиренно, засыпая до весны.

С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Она теснится, рыхлые льдины с хрустом лезут одна на другую. А потом окрепшая шуга спаивается, и однажды, чаще всего в студеную ночь, река встает.

Там, где река в последний раз сердито громоздила льдины, остаются тороса — острые ледяные клыки торчат всюду.

Но вот закружилась поземка, потащило ветром снег по реке, и зазвенели тонкие льдинки, сдерживая порыв ветра; возле них, как у щитков, образовались сугробы. Только на быстрине, на самой стремнине, где тороса высоки и льдины крепки, что сталь, всю зиму из снега торчат они, зеленоватые, сверкающие на солнце.

Но как бы ни была крута осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом усмирить Енисей. На нем то там, то тут остаются полыньи. Самая большая полынья — у Караульного быка.

Здесь все бурлит, клокочет, шуга плывет дальше, свирепое течение крушит хрупкий припай. Не мирится Караульный бык, не желает вмерзать в реку. Уже вся река замерзла, а он стоит в полой воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой; появилась одинокая подвода; затем длинный, медленный обоз — а у быка все еще колышется пар и чернеет вода.

От пара куржавеют каменные выступы быка, а кустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстой бахромой, и среди темных, угрюмых скал Караульный бык, разрисованный пушистыми, до рези в глазах белыми узорами, кажется каким-то чудом.

Однажды после ледостава кто-то сообщил в деревню, что возле быка, в полынье, плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть домашние.

И в самом деле, вечером, когда мы — ребятишки — катались на санках, с другой стороны реки послышались тревож-

ные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наигрывал на пионерском горне.

Гуси боялись наступающей ночи. Ведь полынья с каждым часом становилась все меньше. Мороз исподволь, незаметно округлял ее, припаивал к закрайкам пленочки льда, которые твердели и уже не ломались от вихревых струй.

На следующий день мы целой оравой перешли реку по



свежей, еще чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей.

Полынья сделалась совсем маленькой. Там, где вода выбуривала тугим змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное, яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала. Иногда она подплывала к хрупкому припаю, врезалась в него грудью, пытаясь выбраться на лед и вывести весь табун.

Мне и прежде приходилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались настолько беспечными, что и ночевать оставались на реке. И эта беспечность приводила к тому, что ночью их

подхватывало свежей шугой, выталкивало на течение, и к утру они уже оказывались невесть где и в конце концов вмерзали в лед или выползали на него и, конечно, гибли от мороза.

А эти все еще боролись. Их подбрасывало на волнах, разметывало в стороны, как белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко и властно. И мы понимали это так: «Быть всем вместе! Держаться ближе ко мне! Не вешать голов!»

Внезапно одного гуся течением отделило от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытаясь одолеть течение, но его тащило и тащило. А когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснуло к краю льда, свалило набок, и он беленьким комочком мелькнул под припаем, как под стеклом, и исчез навсегда.

Гусыня кричала долго и с такой печалью, что у нас спины коробило.

И тут кто-то из ребят сказал:

— Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их.

— А как?

Мы задумались. Ребятишки-ребятишки, а понимали, что с Енисеем шутить нельзя и что к полынье подобраться невозможно. Обломится припай у полыньи, и мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом и закрутит, как того гуся, — ищи-свищи потом.

И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни предлагали подбираться к полынье ползком, держа друг друга за ноги; другие говорили, что надо позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились; третьи утверждали, что надо еще день подождать и гуси сами тогда выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом.

Так, споря, мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей.

Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым делом — выжигали известку из камня. Камень добывали из скал, возили на берег. Здесь же на берегу разделывали приплавленные плотами бревна на длинные поленья — бадоги.

Возле одной поленницы, гулко ахая, бил по клину деревянной колотушкой Мишка Коршунов. Вообще-то он был, конечно, Михаил, вполне взрослый человек. Но так уж все его звали: Мишка и Мишка.

Однажды этот Мишка на спор перешел во время весеннего ледохода Енисей и оттого считался в деревне отчаянной головушкой.

— Что за шум, а драки нету? — спросил нас Мишка, опуская деревянную колотушку. Его озорные черные глаза искрились смехом, на носу и на груди блестел пот, и весь он был в пленках бересты, и кучерявая цыганская голова сделалась седой от этих пленок.

Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка закурил, выпуская клуб дыма, и сказал:

— Погибнут гуси, если не помочь им выбраться.

Нам сразу стало как-то легче: Мишка выручит. Он такой.

Мишка и впрямь скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак.

— Всем взять по длинной доске! — отдал распоряжение Мишка. И мы возликовали.

Ну, конечно же, доски надо, как это мы не догадались сами?

И вот мы бросаем доски и, держа друг друга за ноги, ползем между торосов к припаю. Кое-где под козырьками льдин еще остались оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда.

Мишка сзади нас, ему нельзя на доску — он тяжелый. Когда заканчивается доска, он просовывает нам другую, мы кладем ее впереди и снова ползем, ползем.

— Стоп! — командует Мишка. — Теперь надо одному. Кто тут полегче? — Он обмеривает всех нас взглядом, и его глаза останавливаются на мне. — Сымай шубенку! — приказывает он, и я начинаю расстегивать пуговицы. Хочется мне закричать, убежать, потому что уж очень страшно дальше ползти.

Но Мишка смотрит на меня, стоя на доске, по которой я уже прополз, и никак невозможно ему возражать.

Я ползу по доске. Она кажется мне горячей. Под доской трещит и прогибается лед.

— Гусаньки, гусаньки, — шепчу я, глядя на сбившихся в кучу гусей, которые отплыли к противоположному краю полыньи и встревоженно, с недоумением погагакивают. — Гусаньки, гусаньки, — умоляю их, зову и не могу дальше ползти — страшно. А лед с тонким перезвоном оседает под доской, и беленькие молнии со щелком и дзиком мечутся по нему.

— Гусаньки, гусаньки, — плачу я и маню их пальцами, рукой, глазами. А они по-прежнему толпятся в противоположной стороне и, вытянув шеи, глядят на меня.

Вдруг я почувствовал, что возле моего бока что-то зашуршало, и я обмер, подумал, что лед вовсе обломился, и уцепился за доску.

— Держи, держи доску! — слышу я тугой, взволнованный шепот Мишки и, не оборачиваясь, нащупываю доску. Она ползет по гладкому льду легко, и я почему-то думаю, как, наверное, хорошо и до бесконечности долго летели бы каменные плиточки по такому вот гладенькому, без единой морщинки, льду.

Доска доползла до воды, чуть прогнула ледок, раскрошила закраек. Я держу кончиками онемевших пальцев доску и опять зову, умоляю:

— Гусаньки, гусаньки, миленькие...

Мать гусыня поглядела на меня и, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, как огонь, лапы.

— Ну, вылезай, вылезай! — нетерпеливо закричали сзади меня ребятишки.

— Ша! Мелочь! — гаркнул Мишка, и ребята покорно замолкли.

Гусыня, напуганная криками, отпрянула, а потом, успокоившись, повернулась грудью по течению, поплыла быстро-быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляла до края и приказала: «Делать так же!»

— Ах ты умница, ах ты умница! — шептал я.

Гуси так же стремительно выплывали на доску и ковыляли по ней, а я отползал назад, дальше от черной, жуткой полыньи и манил:

— Гусаньки, гусаньки!

А потом, уже на крепком льду схватил тяжелую гусыню на руки и зарылся носом в ее тугое, холодное перо.

Ребята подобрали остальных гусей, и мы помчались в деревню.

— Не забудьте покормить их! — кричал вслед нам Мишка. — Да в тепло их, в тепло, наморозились, сердечные...

С тех пор в нашей деревне появились гуси. И сейчас по улице важно ковыляют, а то плещутся с утра до вечера в Енисее правнуки и праправнуки той храброй и умной матери гусыни, которую мы спасли от смерти.

КОНЬ С РОЗОВОЙ ГРИВОЙ

Бабушка вернулась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику.

— Сходи с ними, — говорила она. — Наберешь туесок. Я повезу свои ягоды на продажу, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

— Конем, баба?

— Конем, конем.

Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта розовые тоже.

Бабушка никогда не давала мне бегать с куском хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник совсем другое дело. Пряник можно положить под рубаху и слышать, бегая, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса — потерял! — хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться, что тут он, тут, конь-огонь. С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские вокруг тебя и так и этак ластятся, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрельнуть, чтоб только им позволил потом откусить от коня или лизнуть его.

Когда даешь левонтьевским Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадогах. Левонтий заготавливал лес на бадоги, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив деревни по другую сторону Енисея.

Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать, я точно не помню, Левонтий получал деньги, и тогда в доме Левонтия, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой.

Какая-то неспокойность, лихорадка, что ли, охватывали не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Еще рано утром к бабушке забегала Левонтьиха, тетка Василиса, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями:

— Кума! — испуганно-радостным голосом восклицала она. — Долг-от я принесла. — И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

— Да стой ты, чумовая! — окликала ее бабушка. — Сосчитать ведь надо!

Тетка Василиса покорно возвращалась и, пока бабушка считала деньги, перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти



рублей из «запасу на черный день» бабушка никогда Левонтьевым не давала, потому как весь этот «запас», кажется, состоял из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Левонтьиха умудрялась обсчитаться на рубль, а то и на тройку.

Бабушка напускалась на Левонтьиху со всей суровостью:

— Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безмозглое?! Мне рупь, другому рупь. Это что ж получается?!

Но Левонтьиха опять делала юбкой вихрь и укатывалась:

— Передала ведь!

Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, била себя руками по бедрам, плевалась, а я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою на просторе, и ничто-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окна-

ми — ни забор, ни ворота, ни сенцы, ни наличники, ни ставни.

Весною, поковыряв маленько землю на огороде вокруг дома, левонтьевские возводили изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в ненасытной утробе русской печи, уныло раскорячившейся посредине избы Левонтия.

Танька левонтьевская говаривала по этому поводу, шумя беззубым ртом:

— Зато как тятька шурунет нас — бегишь и не запнешша.

Сам Левонтий выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной старинной медной пуговице с двумя орлами, садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, и благодушно отвечал на укоры бабушки перечислявшей работу, какую по её разумению, должен был сделать Левонтий в доме и вокруг дома.

— Я, Петровна, слободу люблю! — И обводил рукой вокруг себя. — Хорошо! Ништо глаз не угнетает!

Левонтий любил меня, жалел. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его получки. Сделать это не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.

— Нечего куски выглядывать! — гремит она, — нечего этих пролетариев объедать!..

Но если мне удается ушмыгнуть из дома и попасть к Левонтьевым, тут уж все, тут уж для меня праздник!

— Выдь отсюда! — строго приказывал пьяненький Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. Тот нехотя вылезал из-за стола. Левонтий пояснял детям это действие уже обмякшим голосом: — Он — сирота, а вы все ж таки при родителях! Мать-то ты хоть помнишь ли? — взревывал он, жалостно глянув на меня. Я утвердительно кивал головой, и тогда Левонтий со слезой вспоминал: — Бадоги с ней по один год кололи — и! — И совсем уж разрыдавшись: — Когда ни придешь... ночь, в полночь... пропа... пропащая ты голова, Левонтий, скажет и... опохмелит....

Тут тетка Василиса, ребятишки Левонтия и я вместе с ними ударялись в голос, и до того становилось полюбовно и жалостно в избе, что все-все высыпалось и вываливалось на стол, и все дружно угощали меня, и сами ели, уж через силу.

Поздним вечером либо совсем ночью Левонтий зада-

вал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?» После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали что попадало под руку и разбегались кто куда. Последней ходу задавала тетка Василиса. И бабушка моя «привечала» ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующий день он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Тетка Василиса дня через три-четыре ходила по соседям и уже не делала вихрь юбкой. Она снова занимала денег, муки, картошек, чего придется.

Вот с ребятишками-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки левонтьевские несли в руках бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные туески и даже ковшик без ручки. Посудой этой они бросались друг в друга, барахтались, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремя луку-бутуна, наелись до зеленой слюны и остальной лук бросили. Оставили только несколько перышек на дудки. В обкусанные перья лука они пищали всю дорогу, и под музыку мы скоро пришли в лес, на каменный увал. Начали брать землянику, только-только еще поспевающую, редкую, белобокую и особенно желанную и дорогую.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туеска стакана на два-три. Бабушка говаривала, что главное в ягодах — закрыть дно посудины. Вздохнул я с облегчением и стал брать ягоды скорее, да и попадалось их выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребятишки тоже сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки Левонтьевых, и побрякивал он им для того, чтобы мы слышали, что он, старший, тут поблизости и бояться нам нечего и незачем.

Но вдруг крышка чайника забрякала нервно, послышалась возня:

— Ешь, да? Ешь, да? А домой че? А домой че? — спрашивал старший и давал кому-то пинки после каждого вопроса.

— Аа-а! — запела Танька. — Санька тоже съел, так ничего-о-о...

Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в траву. Старший брал-брал ягоды, и, видать, обидно ему стало, что вот он берет, для дома старается, а те вот жрут ягоды либо вовсе в траве валяются. Подскочил он к Саньке и пнул его еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшего. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья Левонтьевы, катаются, все ягоды раздавили.

После драки у старшего опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленые ягоды — и в рот их.

— Вам можно, а мне нельзя? — зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.

Вскоре братья Левонтьевы как-то незаметно помирились, перестали обзываться и решили сходить к малой речке побрызгаться.

Мне тоже хотелось побрызгаться, но я не решался уйти с увала к речке. Санька стал кривляться:

— Бабушки Петровны испугался! Эх ты!.. — И Санька назвал меня нехорошим, обидным словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал их, научился у левонтьевских ребят, но боялся, а может, и стеснялся их употреблять, и сказал только:

— Зато мне баба пряника конем купит!

— Жди, купит! — съехидничал Санька и, что-то смекнув, добавил: — Скажи лучше уж — боишься ее и еще жадный!

— Я?

— Ты!

— Жадный?

— Жадный!

— А хочешь, все ягоды съем?..

Сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.

— Слабо! — сказал он.

— Мне слабо? — хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо? — повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды в траву:

— Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, и ягоды вмиг исчезли.

Мне досталось всего несколько ягодок. Грустно. Но я уже сделался отчаянным, махнул на все рукой. Я мчался вместе с ребятишками к речке и хвастался:

— Я еще у бабушки калач украду!

Ребята поощряли меня, давай, мол, и не один калач, может, мол, еще шанег прихватишь либо пирог.

— Ладно! — кричал я.

Мы брызгались из речки студеной водой, бродили по ней и руками ловили пищуженца-подкаменщика. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, назвал ее срамно. Потом мы пуляли камнями в пролетающих птичек и подшибли стрижа. Мы отпаивали стрижа водой из речки, но он пускал в речку кровь, а воды проглотить не мог и умер, уронив голову. Мы похоронили стрижа и скоро забыли о нем, потому что занялись захватывающим, жутким делом — забегали в устье холодной пещеры, где жила (это в деревне доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька. Его и нечистая сила не брала!

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уж забыл про ягоды. Но настала пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

— Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! — хихикнул Санька. — Ягоды-т мы съели. Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..

Я и сам знал, что им, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!» Бабушка моя, Катерина Петровна, — не тетка Василиса.

Жалко плелся я за левонтьевскими ребятишками из лесу. Они бежали впереди меня и гурьбой гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, и от него отскакивали остатки эмалировки.

— Знаш че? — поговорив с братанами, обернулся ко мне Санька. — Ты в туес травы натолкай, а сверху ягод — и готово дело! «Ой, дитятко мое! — принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. — Пособил тебе господь, сиротинке, пособи-ил». — И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, вниз с увала.

А я остался.

Утихли голоса левонтьевских ребятишек внизу за огородами. Я стоял с туеском один на обрывистом увале, один в лесу, и мне было страшно. Правда, деревню здесь слышно. А все же тайга, пещера недалеко, и в ней нечистая сила.

Вздыхал я, вздыхал, чуть было не всплакнул даже и принялся рвать траву. Набрал ягод, заложил верх туеска, получилось даже с копной.

— Дитятко ты мое! — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей свою посудину. — Господь тебе, сиротинке, пособил. Уж куплю я тебе пряник, да самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, а прямо в этом туеске увезу...

Отлегло маленько. Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне, что полагается, и уже отрешенно приготовился к каре за содеянное злодейство.

Но обошлось. Все обошлось. Бабушка отнесла мой туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.

Побежал играть на улицу, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке.

— А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

— Не надо, Санька!

— Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул, калачи украл! Что только будет?» — терзался я ночью, ворочаясь на полатях. Сон не брал меня, как окончательно запутавшегося преступника.

— Ты чего там елозишь? — хрипло спросила из темноты бабушка. — В речке, небось, опять бродил? Ноги, небось, болят?

— Не-е, — жалко откликнулся я, — сон приснился.

— Ну, спи с богом. Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко... — уже невнятно бормотала бабушка.

«А что, если разбудить ее и все рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание утомленного старого человека. Жалко будить бабушку. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу ей обо всем — и про туесок, и про калачи, и про все, про все...

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, а потом замелькала земляника, и засыпала, завалила она и Саньку, и все на этом свете.

На полатях запахло сосняком, ягодами, и пришли ко мне неповторимые детские сны. В этих снах часто с замиранием сердца падаешь вниз. Говорят — оттого, что растешь.

Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас была посеяна полоска ржи, полоска овса и полоска картофеля. О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши пока жили единолично. У дедушки на заимке я очень любил бывать. Спокойно там у него, обстоятельно как-то. Может, оттого, что дедушка никогда не шумит и даже работает как-то тихо, неторопливо, но очень уемисто.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня тогда были огромным, непреодолимым расстоянием. И Алешки, моего двоюродного глухонемого братишки, нет. Недавно приезжала Августа, его мать, и забрала Алешку с собой на сплавной участок, где она работала.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не смог придумать, как податься к левонтьевским.

— Уплыла Петровна? — весело ухмыльнулся Санька и цыркнул слюной на пол в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке запросто мог поместиться еще один зуб, и мы страшно завидовали этой Санькиной дырке. Как он в нее плевал!

Санька собирался на рыбалку и распутывал леску. Малые левонтьевские ходили возле скамеек, ползали, ковыляли просто так на кривых ногах. Санька раздавал затрещины направо и налево за то, что малые лезли под руку и путали леску.

— Крючка нету, — сердито сказал Санька, — проглотил, должно, который-то.

— Помрет!

— Ништяк! — успокоил меня Санька. — Дал бы ты крючок, я бы тебя на рыбалку взял.

— Идет!

Я обрадовался и помчался домой, схватил удочку, хлеба, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей ниже села.

Старшего левонтьевского сегодня не было. Его взял с собою «на бадоги» отец, и Санька командовал напропалую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался почти и даже усмирял «народ», если тот принимался драться.

У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поплевал на них и закинул лески.

— Ша! — сказал он, и мы замерли.

Долго не клевало. Мы устали ждать, и Санька прогнал нас искать саранки, щавель, чеснок береговой и редьку дикую.

Левонтьевские ребятишки умели пропитаться «от земли», ели все, что бог пошлет, ничем не брезговали и оттого были все краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом.

Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, Санька вытащил двух ершей, одного пескаря и белоглазого ельца.

Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб и начал их жарить.

Рыбки были съедены без соли и почти сырые. Хлеб мой ребятишки еще раньше смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок стрижей, «блинали» каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, и все быстро выскочили из реки — отогреваться у костра. Отогрелись и повалились в еще низкую траву.

День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины огнисто полыхали цветы — жарки́, в ложке, под березами и боярками клонились к земле рябенькие кукушкины слезки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полостатые цветки—граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары, почти не трепыхался. Боярка доцветала и сорила в воду, сосняк окурен прозрачной дымкой. Над Енисеем чуть мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхавших по ту сторону реки. Леса на скалах стояли неподвижно, а железнодорожный мост в городе, видимый из нашей деревни в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем и, если долго смотреть на него, вовсе разрушался, падал.

Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет? И зачем, зачем я так сделал?! Зачем послушал левонтьевских?

Вон как хорошо было жить! Ходи, бегай и ни о чем не думай. А теперь? Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет, уж лучше пусть не опрокидывается. Моя мать утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный пожалеет, и все, а бабушка только кричит да нет-нет и поддаст — у нее не задержится. И дедушки нет. На заимке он, дедушка. Он

бы не дал меня в обиду. Бабушка кричит на него: «Потатчик! Своих всю жизнь потакал, теперь этого!..»

«Дедушка ты, дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял бы меня с собою!»

— Ты чего нюнишь? — наклонился ко мне Санька с озабоченным видом.

— Ничего-о-о! — Голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни.

— Ништяк! — утешил меня Санька. — Не ходи домой, и все! Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Боится теперь, что и ты тоже утонешь. Вот она закричит, запричитает: «Утону-у-ул мой дитятко, спокинул меня сироти-иночка», — а ты тут как тут...

— Не буду так делать! — запротестовал я. — И слушаться тебя не буду!..

— Ну и черт с тобой! Тебе же лучше хотят... Во! Клюнуло! У тебя клюнуло! Тяни!

Я скатился с яра вниз, переполошил стрижей в дырках и рванул удочку. Попался окунь. Потом еще окунь. Потом ерш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали.

— Не перешагивай через удилище! — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга левонтьевских малышей и таскал рыбешек. Малыши надевали их на ивовый прут и опускали в воду.

Вдруг за ближним каменным бычком защелкали о дно кованые шесты, и из-за мыска показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками; шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по самые обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны.

Еще взмах шестов, перекидка руки, толчок — и лодка ближе, ближе. Вот уж кормовой давнул шестом, и лодка кивнула носом в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки, крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашеная в бордовый цвет кофта, которая вынималась из сундука только по случаю поездки в город и по большим праздникам...

Ведь это ж бабушка!

Рванул я от удочек прямо к яру, подпрыгнул, ухватился за траву и повис, засунув большой палец ноги в стрижиную

норку. Тут подлетел стриж, тюкнул меня по голове, и я упал вниз, на комья глины. Соскочил и ударился бежать по берегу прочь от лодки.

— Ты куда?! Стой! Стой, говорю! — крикнула бабушка.

Я мчался во весь дух.

— Я-а-вишься, я-а-вишься домой, мошенник! — несся вслед мне голос бабушки. А мужики поддали жару:

— Держи его!

Я и не заметил, как оказался на верхнем конце деревни.

Тут только я обнаружил, что наступил уже вечер и волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Ваньке, жившему здесь, на верхнем краю села.

Мне повезло. Возле дома Кольчи-старшего, Ванькиного отца, играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты.

Появилась тетя Феня, Ванькина мать, и спросила меня:

— Ты почему домой не идешь? Бабушка ведь потеряет тебя?

— Не-е, — беспечно ответил я. — Она в город уплыла. Может, ночует там.

Тогда тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала. А тонкошеий молчун Ванька попил вареного молока, и мать сказала ему:

— Все на молочке да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, и оттого крепок.

Я уже надеялся, что тетя Феня и ночевать меня оставит, но она еще порасспрашивала, порасспрашивала меня обо всем, затем взяла за руку и отвела домой.

В доме уже не было свету. Тетя Феня постучала в окно. Бабушка крикнула:

— Не заперто!

Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое жужжание бьющихся о стекло мух, паутов да ос.

Тетя Феня оттеснила меня в сени и втолкнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах — на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке.

Я зарылся в половики, притих.

Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натыкан-

ной во все щели и под потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрескивала, и оттого, видно, в кладовке было немного таинственно и жутковато.

Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. На земле утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневною жарой собаки приходили в себя, вылазили из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что проложен через малую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там и поет. У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, дядя Левонтий принес чего-то на варево. У кого-то левонтьевские «сбодали» жердь? Скорее всего у нас. Есть им время сейчас идти далеко!..

Ушла тетя Феня, плотно прикрыв дверь в сенцах. Вороватo прошмыгнул под крыльцо кот, и под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала, должно быть. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и уснул.

Проснулся я от солнечного луча, пробившегося в мутное окошко кладовки. В луче мошкой мельтешила пыль, откуда-то наносило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно встрепенулось — на меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью! Красота!

Я прислушался. На кухне бабушка громко, с возмущением рассказывала:

— ...культурная дамочка, в шляпке. Говорит: «Я у вас эти вот ягоды все куплю». Я говорю: «Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал...»

Тут я, кажется, провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог разобрать последних слов, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы помереть скорее.

Но сделалось жарко, глухо, стало невмоготу дышать, и я открылся.

— ...Своих вечно потачил! — шумела бабушка. — Теперь этого! А он уже мошенничает! Что потом из него будет? Катаржанец будет! Вечный арестант будет! Я вот еще левонтьевских в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор от греха подальше. Бабушка вышла в сенки, заглянула в кладовку. Я крепко сомкнул веки.

— Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!

Но я не сдавался. Забежала в дом бабушкина племянница, спросила, как бабушка сплавала в город. Бабушка ска-

зала, что слава тебе господи, и тут же принялась рассказывать:

— Мой-то, малой-то! Чего утворил!..

В это утро к нам приходило много людей, и всем бабушка говорила: «А мой-то, малой-то!..»

Бабушка ходила взад-вперед, поила корову, выгоняла ее к пастуху, делала разные свои дела и всякий раз, проходя мимо дверей кладовки, кричала:

— Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!

Я знал, что она управится по дому и уйдет. Все равно уйдет поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, какие свершились без нее в селе. И каждому встречному бабушка будет говорить: «А мой-то, малой-то!»

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул: «Ничего, дескать, не робей». Я заширкал носом. Дед погладил меня по голове, и хлынули так долго копившиеся слезы.

— Ну, что ты, что ты? — успокаивал меня дед, обирая большой жесткой и доброй рукой слезы с моего лица. — Чего же голодный-то лежишь? Попроси прощенья... Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед.

Придерживая одной рукой штаны, а другую прижав локтем к глазам, я ступил в избу и завел:

— Я больше... Я больше... Я больше... — И ничего дальше сказать не мог.

— Ладно уж, умывайся да садись трескать! — все еще непримиримо, но уже без угрозы, без громов сказала бабушка.

Я покорно умылся. Долго и очень тщательно утирался рушником, то и дело содрогаясь от все еще непрошедших всхлипов, и присел к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руки вожжи, еще что-то делал. Чувствуя его незримую и надежную поддержку, я взял со стола краюху и стал есть всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молока в бокал и со стуком поставила посудину передо мной:

— Ишь ведь какой смирненький! Ишь ведь какой тихонький! И молочка не попросит!..

Дед мне подморгнул — терпи, дескать. Я и без него знал — боже упаси сейчас перечить бабушке или даже подать голос. Она должна высказаться, должна разрядиться.

Долго бабушка обличала меня и срамила. Я еще раз раскаянно заревел. Она еще раз прикрикнула на меня.

Но вот выговорилась бабушка. Ушел куда-то дед. Я сидел, разглаживая заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По замытому, скобленному кухонному столу, как по огромной земле с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовою гривой. А от печки слышался сердитый голос:

— Бери, бери, чего смотришь?! Глядишь, за это еще когда обманешь бабушку...

Сколько лет с тех пор прошло! Уж давно нет на свете бабушки, нет и дедушки. А я все не могу забыть того коня с розовой гривой, того бабушкиного пряника.

ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ ДЛЯ ВСЕХ

Мне было лет семь, когда я заболел малярией. Бабушка брызгала меня «святой водой» — не помогало. А тетка Августа один раз подкралась сзади и хлобыснула мне за шиворот ковш ключевой воды, чтобы «выпугнуть» лихорадку. После этого меня уже не отпускало ночью, а прежде приступы были только утром до восхода и вечером после захода солнца.

Бабушка назвала тетку дурой и стала поить меня хиной. Я оглох и начал жить как бы в себе, сделался задумчивым и все чего-то искал. Из двора меня никуда не отпускали, в особенности к реке, так как трясучка эта проклятая, по поверью старух, «на воду выходила».

У каждого мальчишки есть свой тайный уголок в избе или дворе, будь эта изба или двор хоть с ладошку величиной. Появился такой уголок и у меня. Я сыскал его там, где раньше были кучей сложены старые телеги и сани, за сеновалом, в углу огорода. Здесь стеною стояла конопля, лебеда и крапива.

Но вот на селе организовался колхоз, потребовались железные полозья и ободы, и дед свез все старье к колхозной кузнице.

На месте телег и саней сначала была коричневая земля с паутиной, мышиные норки да грибы поганки с тонкими шеями. А потом пошла травка. Поганки усохли, сморщились,

шляпки с них упали. Норки заштопало корнями конопли и крапивы, сразу же переползшей на незанятую землю.

Я «косил» на меже огорода траву — мокрицу обломком ножика и «метал стога», гнул сани и дуги из ивовых прутьев, запрягал в них бабки-казанки и возил за сарай «копны». На ночь я выпрягал «жеребцов» и ставил к сену.



Так в уединении и в деле я почти одолел хворь, но еще не различал звуков, а все смотрел — старался глазами не только увидеть, но и услышать.

Иногда в конопле появлялась маленькая птичка — мухоловка. Она деловито ощипывалась, дружески глядела на меня, прыгала по коноплине, как по огромному дереву, клевала саранчу, открывала клюв и неслышно для меня чиликала. В дождь она сидела нахохленная под листом лопуха. Ей было очень одиноко без птенцов. Под листом лопуха у нее было гнездышко. Там даже птенцы зашевелились было. Но добралась до них кошка и сожрала всех до единого.

Мухоловка тихо дремала под лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза птички были затянуты слепой пленкой.

Глядя на птичку, и я начинал зевать, меня пробирало ознобом, губы мои тряслись.

Я засыпал под тихий, неслышный дождь и думал о том, что хорошо бы посадить на «моей земле» дерево. Выросло бы оно большое-пребольшое, и птичка свила бы на нем гнездо. Я посеял бы семечки шиповника под деревом, и тогда уж никакие кошки не смогли бы залезть на дерево — шиповник колючий, кошки боятся в него ходить.

В один жаркий солнечный день, когда болезнь моя утихла и мне даже тепло стало, я пошел за баню и нашел там росточек с коричневым стебельком и двумя блестящими листочками. Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем.

Теперь у меня появилась забота и работа. Ковшиком носил я воду из кадки и поливал саженец. Он держался хорошо, бодро, нашел силы отшатнуться от тени сеновала к свету.

«Куда это ты таскаешь воду?» — маячила мне бабушка.

«Не скажу. Секрет!» — маячил и я ей руками, будто и она была глухая.

Часами смотрел я на свой саженец. Мне он начинал казаться большой, остроиглой бояркой. Вся она была густо запорошена цветами, обвита листвой, потом на ней уголечками разгорались ягоды с косточкой, крепкой, как галька. На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки, и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем тут хватит места! Дерево-то будет расти и расти! Конечно, боярка высокой не бывает, до неба ей не достать. Но выше сеновала она, пожалуй, вымахает. Я вон как ее поливаю!

Однако саженец мой пошел не ввысь, а вширь, пустил еще листья, из листьев — усики. На усиках маковым семечком проступили крупинки, из них вывернулись розоватые цветочки.

К этой поре я уже стал маленько слышать, пришел к бабушке и прокричал:

— Баб! Я лесину посадил, а выросло что-то...

Бабушка пошла со мной за сеновал, оглядела мое хозяйство.

— Так вот где ты скрываешься! — сказала она и склонилась над саженцем, покачала его из стороны в сторону, растерла цветочки в пальцах, понюхала и жалостно посмотрела на меня: — Ма-атушка. — Я отвернулся. Бабушка погладила меня по голове и прокричала в ухо: — Осенью настоящее посадишь...

И я понял, что это вовсе не дерево, а какая-то ерунда. Так оно и было. Саженец мой, по заключению бабушки, оказался дикой гречкой. Обидно мне сделалось. Я даже ходить за сеновал перестал, да и болезнь моя совсем почти кончилась, и мне разрешили играть с ребятами на улице.

Осенью бабушка вернулась из лесу с большой круглой корзиной. Посудина эта была по ободья завалена разной растительностью, из-под которой сочной рыбьей икрой краснели рыжики.

Я любил пошарить в бабушкиной корзине. Там, как у дядюшки Якова, — товару всякого! И мята, и зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком упавшей туда брусники — мне лесной гостинец.

На этот раз в корзине оказалось что-то завязанное в бабушкин платок. Я осторожно развязал концы платка, из него высунулась лапка маленькой лиственницы. Деревце было с цыпленка величиной, охваченное желтым куржаком хвои. Казалось, оно вот-вот зачивкает, соскочит с платка и побежит.

Бабушка взяла лопату, мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для маленькой лиственницы большую яму. В яму я принес навозу и черной земли в старой корзине. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в ямку, закопали ее так, что остался наверху лишь желтый носик. Землю вокруг деревца полили теплой водой.

— Ну вот, — сказала бабушка, — глядишь, и возьмется лесина. Лиственница, правда, худо принимается от саженца. От семечка лучше. Но мы ее осторожно посадили, корешок не потревожили...

И опять я начал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. И опять жило на нем, на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью желтая хвоя. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца. Не спутали ль опять чего? Ладно ли посадили?

И как только бабушка принималась за спокойную работу, садилась прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же расспросами:

— Баб, а оно большое вырастет?

— Кто?

— Да дерево-то мое?

— А-а, дерево-то? А как же?! Обязательно большое. Лиственницы маленькие не растут. Только не называй ее своею. Деревья, батюшко, растут для всех.

— Для всех птичек?

— И для птичек, и для людей, и для солнышка, и для речки. Сейчас вот оно заснуло до весны, зато весной начнет расти быстро-быстро и перегонит тебя...

Бабушка еще и еще говорила. В руках у нее крутилось и крутилось веретено. Веки мои склеивались, был я еще слаб после болезни и все спал, спал. И мне снилась теплая весна, зеленые деревья.

А за сараем, под сугробом снега тихо спало маленькое деревце и ему, наверно, тоже снилась весна.

ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ СКАЗКА

На задворках нашего села среди травянистой поляны стояло на сваях длинное помещение из досок. Оно называлось «завозня» и было для того, чтобы все крестьяне села завозили сюда семена и хранили. Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы и, значит, село будет жить, потому что, покудова есть семена, есть пашня, в которую можно бросить их и вырастить хлеб, он, крестьянин, хозяин, а не нищеброд.

Поодаль от завозни — сторожка. Прижалась она под каменной осыпью, в заветрии и вечной тени. Над сторожкой, высоко на увале, росли лиственницы и сосны. За задней стеной сторожки выкуривался из камней синим дымком ключ. Выйдя на поляну, он растекался по подножию увала, обозначал себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пору, а зимой — тихим парком из-под снега и куржаком по наползавшим с увалов кустарникам.

В сторожке было два окна: одно — подле двери и одно — сбоку избушки, в сторону деревни. Но то окно, что глядело когда-то в деревню, затянуло расплодившимися от ключа черемушником, жалицей, хмелем и разной другой дурниной. Крыши у сторожки не было. Хмель запеленал избушку так, что напоминала она косматую одноглазую голову. Из хмеля торчала труба с опрокинутым на нее пустодонным ведром, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки — в зависимости от времени и погоды.

Жил в сторожке Вася-поляк. Роста он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в деревне, у которого были очки. Очки эти вызывали пугливую учтивость к Васе не только у нас, ребятишек, но и у взрослых.

Жил Вася тихо-мирно, зла никому не причинял, но редко



кто заходил к нему в сторожку. Лишь самые отчаянные ребятишки иногда украдкой заглядывали в окно сторожки и ничего не могли разглядеть. А вот у завозни ребятишки толклись с ранней весны и до осени: играли в прятки, заползали на брюхе под бревенчатый взъезд, в завозню, либо хоронились под полом за сваями и еще в сусеках прятались; рубились в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками — битами, налитыми свинцом. При ударах, гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал воробьиный переполох. Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду — крутил с ребятишками веялку по очереди, и здесь же я первый раз в жизни услышал музыку — скрипку...

На скрипке редко, правда, очень редко играл Вася-поляк, загадочный человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки и остается в памяти навсегда. Такому человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, рядом с лесом, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ, и чтобы никто-никто не знал, что делает в избушке человек и о чем он думает.

Я помню, пришел Вася однажды к бабушке днем и что-то попросил у нее. Бабушка посадила Васю пить чай, а сама принесла сухой травы и стала заваривать ее в чугунке. Она жалостно поглядывала на Васю и протяжно вздыхала.

Я сидел на печке и выглядывал из-за трубы. Вася пил чай не по-нашему, не из блюдца, а прямо из стакана, прихватив длинным, чистым пальцем ложку. Очки его грозно посверкивали, а голова была стриженая и оттого казалась маленькой, с брюковку. По черной бородке Васи, ровно молнией, полоснуло сединой. И весь он будто присолен, и крупная соль иссушала в нем соки. Ел Вася стеснительно, помаленьку, выпил лишь один стакан чаю и, сколько бабушка его ни уговаривала, есть больше ничего не стал, а церемонно, не крестясь, откланялся и унес в одной руке глиняную кринку с наваром из травы, в другой — черемуховую палку.

— Господи, господи! — вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. — Доля ты тяжкая... Слепнет человек.

Вечером другого дня я и услышал Васину скрипку.

Была ранняя осень. Ворота завозни распахнуты настежь. В них тянул сквозняк. Завозня еще была пуста. В ней ремонтировались сусеки для зерна. Из завозни пахло стружкой и перегорелым, затхлым зерном. Небольшая стайка ребятишек, не взятых на пашню из-за малолетства, играла в завозне в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла. Осенью как-то вообще плохо играется, не то что весной. Один по одному разбрелись ребятишки по домам, а я растянулся на прогретом бревенчатом взъезде и стал выдергивать проросшие в щелях зерна. Я ждал, когда загремят телеги на увале, чтобы перехватить наших с пашни, прокатиться домой, а там, глядишь, коня сводить на водопой дадут.

За Енисеем, над Караульным быком затемнело, в вершинах лесин, разбросанных по быку, просыпаясь, мигнула раз-другой крупная звезда и стала светиться. Была она колючая, как шишка репья. А на этой стороне, за увалами, над Васи-

ной избушкой, упрямо, не по-осеннему тлела полоска зари. Но вот на нее наползла с двух сторон — из-за леса и из-за реки — плотная темнота. Зарю притворило до утра, будто светящееся окно ставнями.

Стало темно, тихо и одиноко.

Сторожки не было видно. Она скрылась в тени горы, слилась с темнотою, и только зажелтевшие листья черемух чуть отсвечивали под горой, в углублении, выдолбленном ключом. Оттуда начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни.

Я прижался к стене завозни, в уголке, и боялся громко дышать. По увалу, над Васиной избушкой, загрохотали телеги, зацокали копыта: люди возвращались с полей, с заимок, с работы, а я так и не решился отклеиться от стены завозни, так и не мог одолеть накатившего на меня вместе с темнотою страха. На селе засветились окна, к Енисею потянулись дымы из труб. В зарослях малой речки кто-то искал корову и звал ее то ласковым голосом, то ругал последними словами.

В небе, рядом с той звездой, что все еще одиноко светилась над Караульным быком, пропечаталась незаполневшая луна, будто неровно обкусанная половина яблока. От завозни упала тень на всю поляну, и от меня тоже упала тень, узкая и носатая.

За малой речкой — рукой подать — забелели кресты на кладбище; шумнули отчего-то старые березы темной в ночи листвой; что-то скрипнуло на кладбище, пискнуло — и холод пополз под рубаху, по спине, под кожу, к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться и лететь до самых ворот дома, и забарабанить щеколдой так, что проснутся на селе все собаки...

Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене.

Сделалось еще страшнее: слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей и где давно еще, бабушка говорила, задавился человек, а сзади темная завозня, и за нею село с огородами, охваченными чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма.

Один я, один, а кругом жуть такая, и еще музыка — скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозит она вовсе, а жалуется, и совсем ничего жуткого нет. И бояться-то

нечего. Дурак-дурачок! Разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слышал никогда, вот и...

Музыка становится мягче, прозрачней, и слышу я, как отпускается сердце. И кажется мне, что музыка эта течет вместе с ключом из-под горы. Кто-то припал к ключу губами, пьет, пьет, и не может напиться: так иссохло у него все во рту и внутри. И видится мне почему-то тихий в ночи Енисей, а на нем плот с огоньком. С плота кричат неведомые люди: «Какая деревня-а?» — и плывут дальше. Зачем? Куда? И еще обоз на Енисее видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то, а сбоку бегут собаки, а кони идут, тихо дремлют. И еще мне видится толпа на берегу Енисея и мокрое что-то, замытое тиной, и деревенский люд по всему берегу, и бабушка с распущенными волосами, зачем-то рыдающая надо мной...

Музыка эта говорит все о печальном, о болезни вот о моей говорит, как я целое лето малярией болел, и как мне было горько от хины, и как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал, уж навсегда буду глухим, и как являлась ко мне в лихорадочный сон мама и прикладывала холодную руку с синими ногтями ко лбу; я кричал на всю избу и не слышал своего крика...

В избе всю ночь горела привернутая лампа, и бабушка показывала мне в углы, под печью, под кроватью, мол, никого нету...

А то вот еще девочку помню, рука у нее сохнет. Ее в обозе везли лечить в город. И опять обоз возник передо мною. Все он идет, идет куда-то, за поворот реки, скрывается в студеных торосах, в морозном тумане. Лошади все меньше, меньше, вот и последнюю скрал туман. Одиноко как-то, пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами...

Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего; снова забилась живая ниточка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уже ключ, а два, три, уже грозный поток хлещет из скалы, катит камни, ломает лесины, выворачивает их с корнями, несет, крутит. Он вот-вот сметет избушку под горой, сметет и смоет завозню и обрушит все с гор, в небе ударят громы, сверкнут молнии, и от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и уже не залить будет этот огонь ни ручьем, ни Енисеем — ничем не остановить страшную такую бурю!

«Да что же это такое?! Да где же люди-то!? Чего же они смотрят?! Связали бы Васю-то!»

Но скрипка сама все потушила. Снова чего-то жаль, снова тоскует один человек, снова едет кто-то куда-то, может, на обозе, может, на плоту, а может, и пешком идет в темноте. Мир не сгорел, ничего не обрушилось. Сгорела, должно быть, чья-то душа, почудившаяся мне вспыхнувшим цветком папоротника, который цветет только в сказках, в легендах, раз в сто лет, и никому не дано увидеть его.

Все на месте. Луна со звездою над рекой. Село уже без огней. Кладбище в вечном молчании и покое. Избушка под увалом, объятая сгорающими черемухами и тихой песней скрипки.

Все-все на месте. Только сердце мое, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненое на всю жизнь музыкой.

О чем же это рассказывала мне музыка? Не об обозе же, не о мертвой маме, не о девочке, у которой сохнет рука. О чем-то другом, очень большом. На что же это жаловалась она? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему хочется заплакать, как я еще никогда не плакал? Почему мне жалко самого себя, жалко тех вон, что спят непробудным сном на кладбище, и среди них, под бугорком лежит моя мать, а рядом с нею две сестренки, которых я даже не видел, не успел: они жили до меня, жили мало, — и мать ушла к ним, оставив меня одного на этом свете, где трепещет и бьется о стекла нарядной траурницей чье-то встревоженное, тоскующее сердце.

Музыка кончилась неожиданно, точно опустил кто-то властную руку на плечо скрипача и сказал: «Ну, хватит!» На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув боль, а выдохнув ее. Но уже помимо всего, по своей воле другая какая-то скрипка взвивалась выше, выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном оборвалась в глубоком поднебесье, у той одинокой остроиглой звезды...

Я долго сидел в уголочке завозни и слизывал крупные слезы, катившиеся мне на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в этом уголке, остаться и умереть всеми брошенным и забытым, и чтобы потом всем было жалко меня.

Что-то произошло, изменилось вокруг. Предчувствие будущих бед и страданий жило во мне сейчас. Предчувствие оказалось точным. Музыка не обманывает.

Сколько я так просидел, не знаю. Скрипку больше не было слышно, и свет в Васиной избушке не горел. «Уж не умер ли Вася-то?» — подумал я, вспомнив, как внезапно оборвалась музыка.

Я осторожно пробрался к избушке. Ноги мои начали вязнуть в холодном и вязком черноземе, размоченном ключом. Лица моего коснулись шершавые, липучие листья хмеля, и над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие студеной водой и сладкой березовицей. Я приподнял нависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцая, в избушке топилась железная печка. Она колеблющимся светом обозначала столик у стены, за ним приделанный в углу топчан. На топчане полулежал Вася, прикрыв глаза левой рукой. Очки его кверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка, а длинная палочка-смычок была зажата в правой руке, свесившейся вниз.

Я тихонько приоткрыл дверь и шагнул в избушку. После того как Вася пил у нас чай, и в особенности после музыки, которую он так вот просто выплеснул в мир, мне уже не так страшно было к нему заходить.

Я сел на порог и стал глядеть на руку, в которой была зажата гладкая палочка.

— Сыграйте, дяденька, еще, — тихо попросил я.

— Что тебе, мальчик, сыграть? — по голосу я угадал: Вася нисколько не удивился тому, что кто-то здесь, кто-то пришел. Как будто оно так и должно быть.

— Что хотите, дяденька.

Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки скрипки, трогая смычком струны.

— Подбрось дров в печку.

Я послушно исполнил его просьбу. Печка притухла на время, в избушке сделалось совсем темно. Вася ждал, не шевелился. Но вот в печке щелкнуло раз, другой, прогоревшие бока ее обозначились красными корешками и травинками, в поддувале закачалось пламя. Отблеск пал на Васю. Он вскинул к плечу скрипку и заиграл.

Прошло немало времени, пока я узнал мелодию. Это была та же самая музыка, что я слышал у завозни, и в то же время совсем другая. Она мягче, добрее, тревога и боль только чуть угадывались в ней, скрипка уже не стонала, не сочилась ее душа кровью, не бушевал огонь вокруг, и не рушились камни.

Трепетал и трепетал огонек в поддувале печки, а может, там, за избушкой, на увале, опять засветился папоротник. А если найдешь цветок папоротника — невидимкой станешь и можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным, выкрасть у Кощея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать и матерей всех осиротелых ребят...

В печке разгорелись дрова подсоченной сухостоины — сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом и вскипевшей на потолке смолой. Избушка наполнилась жаром и грузным красным светом. А в поддувале поплясывал огонь, и весело прищелкивала разогнавшаяся печка, выстреливая на ходу крупные искры.

Тень музыканта, сломанная у поясницы, металась по избушке, человек со скрипкой вытягивался по стене, становился прозрачным и нервным, как отражение в воде, а потом отдалялся в угол, исчезал в нем, и тогда там обозначалась не тень, а живой музыкант, живой Вася. Рубаха на нем была расстегнута, ноги босы, закрытые глаза в темных обводах, какие бывают от бессонницы. Щекою Вася лежал на скрипке, и мне казалось, так ему покойней и удобней и что так он слышит в скрипке такое, чего мне никогда не услышать.

Когда притухала печка, я радовался оттого, что не мог видеть Васиного лица и бледной ключицы, сиротливо выступившей из-под рубахи, и правой ноги, кургузой, куцей, будто обкусанной щипцами, и плотно, до боли затиснутых в черные ямки глаз. Они, должно быть, боялись даже такого малого света, какой выплескивался из печки.

В сутеме я смотрел только на вздрагивающий, мечущийся или плавно скользивший смычок, на гибкую, мерно раскачивающуюся вместе со скрипкой тень. И тогда Вася снова начинал представляться мне чем-то вроде волшебника из далекой сказки, а не одиноким калекою, до которого никому нет дела. Я так засмотрелся на этого волшебника, так заслушался, что вздрогнул, когда он вдруг заговорил.

— Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. — Вася думал вслух, не переставая играть. — Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина, он еще не сирота. — Какое-то время Вася думал про себя. А я ждал, слушал. — Все проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...

Скрипка снова тронула те струны, которые накалились при той давешней игре и еще не остыли. Рука Васина снова содрогнулась от боли, но тут же усмирилась, пальцы, собранные в кулак, разжались.

— Эту музыку, мальчик, написал мой земляк Огинский в корчме — так называется у нас заезжий дом, — продолжал Вася. — Написал на границе, прощаясь с Родиной. Он посылал ей последний привет. Давно уже нет композитора на свете. Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не может отнять, жива до сих пор...

Вася замолчал, говорила лишь скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. Вася знал: она договорит остальное. Голос ее становился тише, тише, он растягивался в темноте тонюсенькой, светлой паутинкой. Паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась.

Я убрал руку от горла и выдохнул тот вдох, который удерживал грудью, рукой, боясь оборвать светлую паутинку, но она все равно оборвалась. Печка потухла. Слоясь, засыпали в ней угли. Васи не видно. Скрипки не слышно. Тишь. Темень. Грусть.

— Уже поздно, — сказал Вася из угла, из темноты. — Иди домой. Бабушка будет беспокоиться.

Я привстал с порога, и если бы не схватился за деревянную скобу, упал бы. Ноги были все в иголках и как будто вовсе не мои.

— Спасибо вам, дяденька, — прошептал я, не обращая внимания на занемелые ноги.

— За что, мальчик?

— За то, что я не сирота...

Я выскочил из избушки на чужих этих ногах. Растроганными слезами благодарил я Васю, сторожку, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. Мне сейчас ничего не страшно. В эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок, как я, ничего-ничего дурного в нем не умещалось.

Доверяясь этой доброте, разлитой, как лунный свет, по всему селу и по всей земле, я зашел на кладбище, постоял на могиле матери.

— Мама, это я. Скажи мне: какая ты? Я забыл твое лицо, и ты мне больше не снишься.

Я опустился на землю, припал ухом к холмику. Мать не отвечала. Все было тихо — на земле и в земле. Маленькая рябинка, посаженная мной и бабушкой, нароняла острope-

рых крылышек на мамин бугорок. У соседних могил березы распустили нити с желтым листом до самой земли. На вершинах берез уже не было листа, и голые прутья исполосовали половину луны, стоявшую теперь уж над самым кладбищем. Все было тихо. Роса проступила на траве. Стояло полное безветрие. Потом с увалов ощутимо потянуло знойким холодком. Гуще потекли с берез листья. Роса стекленела на траве. Скоро ноги мои застыли от ломкой росы, один лист закатился под рубаху, сделалось совсем знобко, и я побрел с кладбища в темные улицы села меж спящих домов к Енисею.

Мне отчего-то не хотелось домой.

Не знаю, сколько я просидел на крутом яру Енисея. Он шумел у займища, на каменистых бычках. Вода, сбитая с плавного хода бычками, вязалась в узлы, грузно переваливалась возле берегов и кругами, воронками откатывалась к середине. Неспокойная наша река. Какие-то силы вечно тревожат ее, в вечной борьбе она сама с собою и со скалами, сдавившими ее с обеих сторон.

Но эта ее неспокойность, это ее древнее буйство не возбуждали, а успокаивали, как успокаивает человека шум ручья на перекате либо говор ключика. Наверно, потому, что была осень, была луна над рекой, сталистая от росы трава и крапива по берегам ее, вовсе не похожая на дурман, а скорее на какие-то расчудесные растения невиданной красоты; и еще, наверное, потому, что во мне звучала Васина музыка о неистребимой любви к Родине. А Енисей, не спящий даже ночью, крутолобый бык на той стороне, пилка еловых вершин на нем, молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в крапиве, вроде бы один он во всем мире, трава, как бы отлитая из металла,— это и была моя родина, близкая и тревожная.

Совсем уж поздней ночью возвратился я домой. Бабушка, должно быть, по лицу моему угадала, что в душе моей свершилось что-то, не стала меня бранить. Я до сих пор благодарен ей за это.

— Ты где так долго? — только и спросила она. — Ужин на столе, ешь и ложись.

— Баба, я слышал скрипку Васи-поляка.

— А-а, — отозвалась бабушка. — Он чужое, батюшко, играет, непонятное. От его музыки бабы плачут, а мужики напиваются и буйствуют...

— А кто он, Вася-то?

— Да кто? — зевнула бабушка. — Человек. Спал бы ты. Мне рано к корове вставать. — Но она знала, что я все равно не отстану, добавила: — Иди ко мне, ложись под одеяло.

Я прижался к бабушке, обнял ее за шею.

— Студеный-то ты какой! И ноги мокрущие! Опять болеть будут, — сказала бабушка и подоткнула под меня одеяло, погладила по голове. — Вася — человек без роду, без племени. Отец и мать у него были из далекой державы — Польши. Люди там молятся не как мы, а по-другому. Царь у них королем называется. Землю польскую захватил русский царь, чего-то они с королем не поделили... Ты спишь?

— Не-е.

— Спал бы. Мне ведь подыматься с петухами. — Бабушка, чтобы скорее отвязаться от меня, бегом рассказала, что в земле этой далекой взбунтовались люди против русского царя, и их к нам, в Сибирь, сослали за это. Родители Васи тоже были сюда пригнаны. Вася родился на подводе, под тулупом конвоира. И зовут его вовсе не Вася, а Стася — Станислав по-ихнему. Это уж наши, деревенские переиначили.— Ты спишь? — спросила вдруг бабушка.

— Не-е.

— А, что б тебе! Ну, умерли Васины родители вскорости, сперва мать, а через год или два и отец. Видел большой такой черный крест и могилу с цветками? Ихняя это могила. Вася бережет ее, ухаживает больше, чем за собой. А сам-то состарился уж, когда — не заметили. О, господи, прости, и мы не молоды!.. Так вот и прожил Вася около завозни, в сторожах. На войну не брали. У него, еще у мокренького младенца, нога ознобилась в подводе... Ну вот, так вот и живет... помирать скоро... И мы тоже...

Бабушка говорила все тише, невнятней и отошла ко сну со вздохом. Я не тревожил ее, а лежал, думал, пытался постигнуть человеческую жизнь, но у меня ничего не выходило. Впоследствии я убедился, что жизнь постигнуть, даже взрослым людям, не всегда удается.

Несколько лет спустя после той памятной ночи завозню перестали использовать, потому что построен был элеватор в большой соседней деревне. Вася остался не у дел. Да и ослеп он к той поре окончательно и сторожем быть уже не мог. Какое-то время он еще собирал милостыню по селу, а потом и ходить не смог, и тогда бабушка моя и другие старухи стали носить еду в Васину сторожку.

Однажды бабушка пришла озабоченная, выставила швейную машину и принялась шить сатиновую рубаху, трековые штаны без прорехи, наволочку с завязками и простыню без шва посредине — так шьют для покойников. Заходили люди, сдержанными голосами разговаривали с бабушкой. До меня донеслось раз-другой «Вася» — и я помчался в сторожку.

Дверь в нее была распахнута. Подле сторожки толпился народ. Люди заходили в избушку и выходили, вздыхая, с кроткими, опечаленными лицами.

Васю вынесли из сторожки в маленьком, словно бы мальчишеском гробу. Лицо покойного было прикрыто полотном. Цветов в домовине не было, венков люди не несли. За гробом тащилось несколько старух, никто не голосил. Все свершалось в деловом молчании. Темнолицая старуха, бывшая староста церкви, на ходу читала молитвы и косила холодным зраком на заброшенную завозню с упавшими воротами, сорванными с крыши тесинами и осуждающе трясла головою.

Я зашел в Васину избушку. Железная печка с середины была убрана. В потолке холодела дыра, и в нее по свесившимся корням травы и хмеля падали капли. На полу валялись стружки. Постель была закатана в угол. На нары, должно быть, ставили домовину, потому что стол очень маленький с подгнившею стойкой. Под нарами валялась сторожевая колотушка, метла, лопата, топор. На окошке, за столешницей, виднелась глиняная миска, кружка с ручкой, долбленная из березового узла — чаги, ложка, гребень и отчего-то не замеченная мною сразу четушка с водой, в ней веточка черемухи с набухшими и уже лопнувшими на сосках почками. Со столешницы сиротливо глядели на меня пустыми стеклами очки.

«А где же скрипка-то?» — вспомнил я, глядя на очки. И тут же увидел ее. Скрипка висела над изголовьем нар. Я сунул очки в карман, снял скрипку со стены и кинулся догонять похоронную процессию.

Мужики с домовиной и старухи, бредущие кучкой следом за нею, уже перешли по перекидышам-бревнам малую речку, захмелевшую от весеннего половодья, и поднимались к кладбищу по косогору, подернутому зеленым туманчиком только что просунувшейся травы. Я потянул бабушку за рукав и показал ей скрипку и смычок. Бабушка строго нахмурилась и отвернулась от меня. Потом сделала шаг шире и зашепталась с темнолицей старухой. Старуха пошевелила постными губами: «Расходы... накладно... сельсовет-то не больно...».

Мне было лет десять, я уже умел кое-что соображать и догадался, что старуха эта хочет продать скрипку, чтобы возместить похоронные расходы.

Я прицепился за бабушкин рукав и, когда мы приотстали, мрачно спросил:

— Скрипка чья?

— Васина, батюшко, Васина, — смиренно ответила бабушка, поглядывая в спину темнолицей старухи. Неожиданно бабушка наклонилась к моему уху: — В домовину-то положь! Сам положь!.. — и прибавила шагу.

Перед тем как люди собрались накрывать Васю крышкой, я протиснулся вперед и, ни слова не говоря, положил ему на грудь скрипку и смычок, а на скрипку несколько желтых цветочков мать-мачехи, сорванных мною у моста-перекидыша.

Никто ничего не посмел мне сказать, только старуха-богомолка пронзила меня острым взглядом и тут же воздела глаза к небу, закрестилась.

Я следил, как заколачивали гроб — крепко ли? Первый бросил горсть земли в могилу Васи, как будто ближний его родственник, а потом, когда люди разобрали свои лопаты, полотенца и разбрелись по тропинкам кладбища, чтобы омочить скопившимися слезами могилы родных, я долго сидел возле Васиной могилы, разминая пальцами комочки земли и ждал. И знал, что уж ничего не дождаться, а все равно ждал.

Но замолкла Васина скрипка.

Последней военной осенью я стоял на посту возле пушек в небольшом, сильно разбитом польском городе. Это был первый иностранный город, который я видел в своей жизни. Он ничем не отличался от разрушенных наших городов. И пахло в нем так же: гарью, трупами, пылью. Меж изуродованных домов, по улицам, заваленным ломью, кружило листву, бумагу, сажу. Над городом мрачно стоял купол пожара. Он слабел, опускался к домам, проваливался в улицы и переулки, дробился на усталые кострища. Но раздавался долгий глухой взрыв — купол опять подбрасывало в темное небо, и все вокруг озарялось тяжелым, неподвижным светом. А листья с деревьев кружило жаром вверху, и они там истлевали.

Иногда на горящие развалины обрушивался артиллерийский или минометный налет, нудили в высоте самолеты, неровно вычерчивали линию фронта немецкие ракеты за городом, они искрами осыпались из темноты в бушующий огненный котел, где корчилось в последних судорогах человеческое жилье.

Мне чудилось, что я один в этом догорающем городе и ничего живого не осталось здесь. Это ощущение постоянно бывает в ночи, да еще к тому же при виде развалин. Но я знал, чувствовал, что совсем неподалеку — только перескочить через зеленую изгородь, обжаленную огнем, — в пустой избе спят наши расчеты, и это придавало мне силы.

Днем мы заняли город, а уже к вечеру откуда-то, словно из-под земли, начали появляться люди с узлами, с чемоданами, с тележками, чаще с ребятишками на руках. Они плакали у развалин, вытаскивали что-то из пожарищ и грозили кулаками на запад, в сторону своего вечного врага.

Ночь укрыла людей с их горем и страданиями. И только пожары укрыть не смогла.

И вдруг в доме, стоявшем через улицу от меня, раздались звуки органа. От дома этого при бомбежке отвалилась половина, обнажив стены с нарисованными на них сухощекими святыми и мадоннами, глядящими сквозь копоть голубыми, скорбными глазами.

До самых потемок глазели эти святые и мадонны на меня, и отчего-то неловко было мне за себя, за людей под этими укоряющими взглядами. И сейчас нет-нет да и выхватывало еще отблесками пожаров из темноты печальные лики с поврежденными головами, с кирпичными выбоинами на длинных шеях. Мне казалось, что они тоже слушали и по-своему, не по-земному понимали музыку, которая напомнила мне далекое, почти забытое детство.

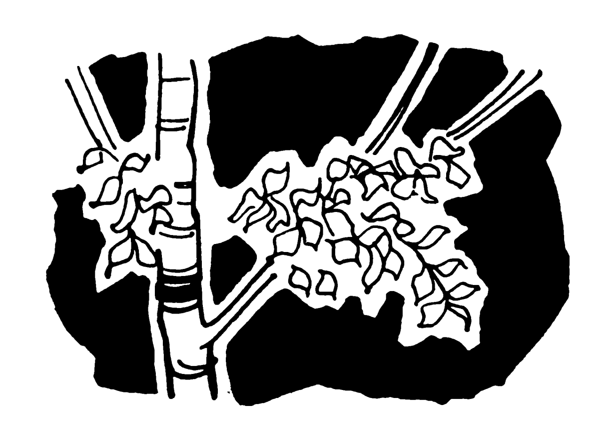
Музыка разбередила воспоминания. Я сидел с закрытыми глазами на лафете пушки с зажатым в коленях карабином и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Когда-то мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга после того, как я послушал скрипку. Глупый был. Малый был. Я так много увидел потом смертей, что не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем смерть. И потому, должно быть, музыка, которую я слушал в детстве, переломилась во мне и закаменела, особенно та ее часть, от которой я плакал когда-то. Сердца ближе касалось то, что пугало в детстве своей тугой, скрытой силой. Да, му-

зыка так же, как в ту далекую ночь, хватала за горло, но не выжимала слез, не прорастала жалостью. Она звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы потухали эти пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, чтобы небо не подбрасывало взрывами.

Музыка торжественно гремела над городом, глушила разрывы снарядов, гул самолетов, треск и шорох горящих деревьев. Музыка властвовала над оцепеневшими от горя развалинами, та самая музыка, которую, как вздох своей земли, хранил в сердце человек, никогда не видевший Родины и всю жизнь тосковавший о ней.

БЛАГОУХАНЬЕ КНЯЖЕНИКИ
УСЛЫШАВ В КОМНАТЕ МОЕЙ,
Я ВСПОМНИЛ КРАЙ, ГДЕ ЧАЩИ ДИКИ,
ГДЕ ПТИЦ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ КРИКИ,
ГДЕ ЗВЕЗДЫ В ПОЛОГЕ ВЕТВЕЙ...

Игнатий Рождественский



Дыхание родной земли



РОДНОЕ

Я был болен. Мне дали путевку на юг, лечиться. Я никогда не бывал на юге и не видел моря и поэтому надеялся вмиг выздороветь. Я ждал чуда и верил в чудо. Но я забыл, что больному везде плохо, даже на юге, даже у моря.

Первые дни я еще держался. Мне еще доставляло удовольствие бродить по набережной, среди толпы, ленивой, подчеркнуто веселой, бесцельно плывущей куда-то. Меня еще не раздражали кокетливо-нарядные клумбы с цветами и не надоедали подстриженные ряды кустов и в обилии насаженные розы, подле которых так любят фотографироваться курортники.

Но прошла неделя, другая, и мне стало чего-то недоставать, и сделалось одиноко в этом, до краев переполненном праздными людьми, городе. И я стал слоняться, искать сам не зная чего.

Я часами смотрел на море, стараясь найти в нем успокоение, найти тот смысл, который всегда умели находить мо-

ряки и художники. Но море нагоняло на меня еще большую тоску мерным и вечным шумом. В его большом и усталом дыхании слышалась грусть, и белые от пены волны говорили о древности, которую оно пережило, отсчитывая годы, как камешки на берегу. Оно много видело, это хмурое, седобровое море, и оттого в нем было больше грусти, чем веселости. Впрочем, говорят, что всяк видит и любит море по-своему. Может, оно так и есть.

Я уходил от моря в парк. Там росли деревья и кустарники, собранные почти со всех частей света. Встречались деревья с темным отливом на широкущих листьях. А под ними робко ютились какие-то длиннопалые кусты с гибкими бархатистыми стеблями и чуть слышным шепотом. Они напоминали покорных арабских красавиц из сказок Шехерезады. Широко, развесисто и буйно росли райские пальмы и воспетые в восточных одах и сказаниях чинары, знающие цену своей красоте. Крупными, непорочно-белыми цветами были обвешаны магнолии, и всюду — розы: белые, красные, кремовые и даже черные. И такой от них запах был кругом, что становилось невыносимо больно оттого, что ты одинок, нездоров и тебе уже за тридцать.

Эти растения, виденные мной впервые, многим из которых я даже и названий не знал, удивляли, но не радовали.

Но однажды среди агав, чинар и прочей заморской благодати я увидел три березки. Три небольшие, в детский кулачок толщиною, березки. Они стояли на тихой травянистой полянке, опустив гибкие ветви долу, и ни один листок не шевелился на них, и не шуршала кора-ветряночка. Они подзатерялись в этом ослепительном, бьющем в глаза заморском буйстве, но достоинства своего не утратили. Нежная зелень клейких резных листочков как-то особенно приятна была глазам после ошеломляющего блеска южной растительности. А белые стволы сияли так молодо, так ясно, что не было ничего белей и радостней вокруг этих тоненьких березок.

Садовник щедро высвободил место березкам в этом тесном парке, зная, что больше всего наши деревья любят свет. Чтобы березки не сомлели под обжигающим солнцем, он постоянно поливал их из шланга, и оттого они казались такими юными и улыбались умытой листвой.

Садовник же и рассказал мне о том, как привезли эти три березки на пароходе издалека вместе с полянкой и как он садил и выхаживал их. Они трудно приживались на не-

привычной для них земле. Им по душе был снежный север, лицом и статью в которого они уродились.

— Обратите внимание, — сказал садовник, — почти все лицевые стороны листочков и вершинки березок повернуты к северу. А чем они пахнут, заметили?

Чем же все-таки? Я закрыл глаза и увидел деревенскую улицу, сплошь уставленную березками. Ветви берез на козырьках ворот, за наличниками окон. Даже в кадушке с водою плавала березовая ветка! Так прежде праздновали у нас в селе начало лета, а потому всюду была зелень, зелень. Зелень берез.

А потом я вспомнил прохладные сенцы, заваленные связками березовых веток, и среди них бабушку, у которой и видно всего лишь одну голову. Бабушка делает веники к зиме, и такое у нее лицо умиротворенное, ласковое, будто в ворохе ветвей, в этой шуршащей пахучести утонули и суровость ее, и вечная озабоченность.

Вот веники уже на сарае, попарно развешаны на жердях, перекладинах и всюду, где есть место их уцепить. Всю зиму здесь пахнет летом, и, может быть, потому тянет нас, ребятишек, играть в прятки именно здесь, на сарае. Очевидно, и воробьи сюда слетались по той же причине и ночевали в связках веников.

А еще мне помнится дом над обрывом. Возле дома в несколько рядов тонкие стволики березок, привязанных тряпочками к колышкам. В доме этом только что открыли школу, и учитель велел каждому из нас — первоклассников — посадить возле школы деревцо, свое живое деревцо.

Прошли многие годы. Школа в деревне сейчас другая, и домика того уже нет. Он сгнил, и его пустили на дрова. Но березки наши остались. Правда, они уцелели не все, но многие все-таки уцелели и выжили. И когда я приезжаю в деревню, первым делом бегу в маленькую рощицу над обрывом. Где-то там есть и мое деревце, мой вечный памятник, и под ним играют ребятишки, и они тоже скоро пойдут в школу и посадят свое деревце, свою березку.

Славно пахнет березка, славно! Есть вечная ласковая грусть в ее запахе. А ведь до той поездки на юг я не обращал внимания на то, чем пахнет береза. Раньше я, как и все мы — русские, не предполагал, что это скромное северное деревце так прекрасно. Оно прекрасней всех деревьев на свете, потому что пахнет Родиной.

Больше я никогда не бывал на юге и почти все забыл:

знакомых, разговоры, встречи. Помню лишь три березки из приморского парка, которые, наверное, уже сильно выросли, но не перестают тосковать о родном российском крае и все кланяются, кланяются ему издалека грустящими вершинами.

И ПРАХОМ СВОИМ

В густом тонкоствольном осиннике я увидел темный, в два обхвата, пень. Пень этот сторожили выводки опят с рябоватыми, шершавыми шляпками. На срезе пня мягкою



шапкой лежал линялый мох, украшенный тремя или четырьмя кисточками яркой брусники. И здесь же ютились хиленькие всходы елочек. У них было всего по две-три лапки и мелкая, но очень колючая хвоя. А на кончиках лапок все-таки поблескивали росинки смолы и виднелись пупырышки завязей будущих лапок. Однако завязи были так малы, а сами елочки так слабосильны, что им уже и не справиться было с трудной борьбой за жизнь и продолжать рост.

Тот, кто не растет, умирает — таков закон жизни. Этим елочкам предстояло умереть, едва-едва народившись. Здесь можно было прорасти, но нельзя выжить.

Я сел возле пня покурить и заметил, что одна из крошек-елочек заметно отличается от остальных. Она стояла, насколько было возможно, бодро и осанисто посредине пня. В заметно потемневшей хвое, в тоненьком смолистом стволике в бойко взъерошенной вершинке чувствовалась какая-то уверенность и даже вроде бы вызов.

Я запустил пальцы под волглую шапку мха, приподнял ее и улыбнулся: «Вон оно в чем дело!» Эта елочка здорово освоилась в пеньке. Она веером развернула липкие ниточки корешков, а главный корешок белым шильцем впился в середину пня. Мелкие корешки сосали влагу из мха, и потому он был такой линялый, а большой ввинчивался в пень, добывая питание.

Елочка долго и трудно будет сверлить пень корешком, покуда доберется до земли. Еще несколько лет она будет расти из пня, из самого сердца того, кто, возможно, был ее родителем, и кто даже после смерти своей продолжал служить жизни, хранил и вскармливал дитя.

И когда от пня останется одна лишь труха и сотрутся следы с земли, там, в глубине, еще долго будут преть корни родительницы-ели, отдавая молодому деревцу последние соки, сберегая для него капельки влаги, упавшие с травинок и листьев земляники, согревая его в стужу остатным теплым дыханием прошедшей жизни.

Будет шуметь на земле новое дерево, вскормленное прахом тех, кто жил до него. Будет стоять оно символом великой, мудрой и непреходящей жизни!

МАРЬИНЫ КОРЕНЬЯ

Однажды мне довелось побывать на Северном Урале. Я сидел на каменной осыпи одного из отрогов вершины Кваркуш. Из-за Вогульской сопки, отчетливо видной вдали, медленно поднималось солнце, и сопка то озарялась с восточной стороны, то снова делалась сумеречной от наползающих на нее облаков.

Но вот солнце выкатилось на горб сопки, ударило лучами по облакам и густым туманам. Снег засверкал на вершинах, облака потускнели, нехотя сползли в ущелья, и мир разде-

лился надвое. Вверху были сопки с белыми зайцами на спинах, все в солнечном сиянии, все в сверкании. А внизу все затоплено, закрыто.

Это был тот час, когда неживая чернота сопок и осыпей окутывалась прозрачным дымком, и сопки не отпугивали, а манили к себе этой призрачной загадочностью. А под ними густо, непроглядно слоились облака, и в них слепо метались



по ущельям речки, налетали на камни и завалы, и все же катились безостановочно с Кваркуша, с Вогульской сопки и с Трех камней, куда с извечным постоянством ходят сбрасывать рога олени.

Здесь, на вершинах Урала начало жизни рек. Здесь, в поднебесье, лежат вечные снега, питая острые и юркие родники теми скупыми каплями, из которых потом рождаются великие реки, то яростно, то степенно идущие до самого Каспийского моря.

Реки рождаются в блаженной, вечной тишине. Рождение не терпит суеты. Рождение любит покой.

Скупое на тепло и щедрое на свет низкое солнце оплавляет спрессованные валы снегов, и они растекаются во все стороны юркими ручейками. Ручейки еще малые, еще хилые, тут же, совсем близко сходятся вместе и вперехлест, весело,

заплетаясь на ходу, катятся вниз по камням и осыпям. Вниз! Вниз! С хохотом и звоном. И уже не остановить их, не вернуть. Реки, что человеческие судьбы — у них много поворотов, но нет пути назад.

Осыпь, на которой я сижу, оканчивается взлетом иссеченных ветрами сопок. Валуны кругом величиной с дома, а на сопке тоже снег, припал плотно, белые лапы меж камней запустил, держится за них. От снега в спину мне несет стужей, а в глаза бьет ослепительное, нежаркое солнце. Под сопкою, чуть ли не выскакивая на усыпанные семенами снежные груды, растут подснежники с теплыми шероховатыми листьями. В листьях этих, как в доброй горсти, зажато по пяти остролистых белых цветочков. Нигде я не видел таких дерзких подснежников! Расцветают они здесь почти все лето, преследуя линяющие под солнцем снега, расцветают по пяти штук на одном стебле.

А на высыпке мелкого камешника, возле маленькой, но уже по-старушечьи скрюченной пихточки я вижу крупные, багрово-розовые цветы. Внизу, на склонах Урала растут они выводками, корней по тридцати, голова к голове, лист в лист, и цветы там яркие, с желтыми зрачками.

Как же попали сюда эти? Каким ветром-судьбою занесло в безжизненные осыпи, в студеное поднебесье их тяжелые семена? Может, птица в клюве занесла? Может, лось в раскопытье?

Их всего три. И стебли их тонки, и листья у них будто из жести, и побагровели эти листья на срезах от стужи.

А цветы?

До чего же мудра жизнь? Венцы цветов прикрыты, и желтых зрачков не видать. Цветы стоят, как детишки, в ярких шапочках с завязанными ушами, и не дают холоду сжечь семена. И лепестки у цветов с проседью, и мясисты они, толсты. Вся сила этого цветка идет на то, чтобы сберечь семена, и они не откроются во всю ширь, не зазеваются на приветливо сияющее солнце. Они не доверяют этому солнцу. Они слишком много перенесли, прежде чем пробудились от зябкого сна среди голых, прокаленных стужею камней.

Пройдут годы, и плеснут на осыпи всполохи ярких, багровых цветов. А пока их здесь всего три, мужественных, непокорных цветка, и в них залог будущей красоты.

Я верю, что они выживут и уронят крепкие семена свои в ручейки, а те занесут их меж камней и найдут им щелку, из которой идет хотя и чуть ощутимое, но теплое дыхание зем-

ли. Я верю в это, потому что лет восемьдесят назад, возле Кваркуша и других приполярных вершин и сопок не было ни одного деревца. А сейчас в распадках — низкие, костлявые, полураздетые, но сплошные леса, и даже на западном склоне Кваркуша, вокруг альпийских лугов — где островками, где в одиночку низкие, почти нагие деревца, но такие крепкие, узлистые, что корни их раскалывают камень, а от стволов отскакивает топор. Деревья ведут постоянное, тяжелое наступление и закаляются в борьбе, в вечном походе. Иные из них падают, умирают на ходу, как в атаке. И все-таки они идут, идут, вперед и вперед!

Первые солдаты! Согнутые, иссушенные голодом и мертвящим дыханием, но не покоренные, принявшие на свою грудь всю лютость севера ради тех лесов, что идут за вами, — низкий поклон вам от бывшего солдата, который знает, как трудно быть первым!

А следом за лесами летят птицы, идут звери, идет живая жизнь и вместе с нею эти багрово-розовые цветы с работящими корнями и живучими семенами. И все эти, светящиеся внизу на полянах бледными лампадами купавки, желтые лютики, невиданно мелкие, с мошечку величиной, незабудки и даже чудом проникшие сюда — лазоревые цветы, и уверенные в себе подснежники — с восхищением глядят на нездешних жителей: на трех разведчиков, как бы наполненных живою, горячею кровью.

Пусть не остынет алая кровь в тонких жилах цветов.

ВЕСЕННИЙ ОСТРОВ

Пароход миновал Осиновские пороги, и сразу Енисей стал шире, раздольней, и высота берегов пошла на убыль. И чем шире становился Енисей, тем положе делались берега, и утихало течение, и река усмирялась, текла степенно, без шума и суеты.

Была светлая ночь. Я один стоял на носу парохода, облокотясь на перила, и, счастливо успокоенный, смотрел на родную, самую близкую моему сердцу реку. Иногда нос парохода так глубоко зарывался в воду, что брызги прилетали мне в лицо.

Я ждал солнце, которое всего лишь час назад скатилось за лес и замерло там перед тем, как снова начать дневной обход земли. И тут его застали туманы и, воспользовавшись предзакатной задумчивостью светила, заполонили его и упрятали от мира.

Но я знал, вот-вот оно сбросит с себя короткую дремоту, это, на диво работящее заполярное солнце, и тогда оробеют туманы, заползут в лога, улягутся под обрывистыми берегами и будут таиться там, покуда солнце не поднимется выше.



Когда оно взойдет из-за леса и повиснет над рекой — туманам конец. Они слезами падут на траву и листья, на камешник и пески, и тогда утренний мир предстанет человеческому взору свежим, умытым, обновленным.

И в тот час, когда бессонное солнце разогнало туманы и улыбчиво, озоровато смотрело с небес, на сияющую землю, я увидел впереди остров. Пароход стал поворачивать к острову, потому что на мысу его виднелся сигнал — белая перевалка.

Ближе, ближе подмытый, ступенчатый берег острова. Я заметил, что у острова какая-то необычная для этой поры окраска, яркая, сочная, какая бывает в Сибири к концу весны и в начале лета, когда бушует всюду разнотравье и наливаются, полыхают редкие, непостижимо яркие цветы Сибири.

Но к концу июня краски блекнут, цветы и травы желтеют, листья на деревьях утрачивают свой сочный, молодой цвет.

И вот на тебе!

Я вижу бархатно-зеленую ленту на подоле острова — это свежий, только что распустившийся гусятник, а дальше — синяя полоса, раздробленная голубыми и розовыми крапинками. Да это ж цветут колокольчики, незабудки, кукушкины слезки! А что это горит, полыхает у самых кустов, и кажется: заря упала наземь. Неужто жарки? Да, это жарки, которые везде и всюду давно уже отцвели.

Весна на острове! Бушует весна! Хочется выскочить, поваляться в весенней траве, но пароход проходит мимо, и я бегу на корму и смотрю, смотрю на удаляющийся остров, и мне хочется сказать кому-нибудь о том, что я вот только что видел сибирскую весну, о которой тосковал много-много лет.

От острова осталась только полоска, повисла в воздухе и стала растворяться, рябить, как птичий косячок.

— Прощай, весенний остров! — прошептал я и долго еще стоял на палубе, дивясь чудесам, которые в Заполярье встречаются так часто.

Впрочем, никаких чудес тут нет. И этот весенний остров тоже без чудес. Он дольше других островов пробыл под водой, и когда обсох — был уже июль и, конечно, везде уже прошла весна, а он, на радость всем, забушевал зеленью, плеснул цветами, заполыхал яркой радугой среди реки, и ничто не могло сдержать торжества природы.

Она жила, буйствовала, цвела и радовалась, не соблюдая никаких сроков.

Так и в нашей жизни — поздно или рано, к каждому человеку приходит весна.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Мы с приятелем шагаем по берегу Койвы — притока Чусовой и любуемся необычайной картиной. Лес еще в зелени, еще по берегам щетинится густая осока, а на прибрежных озерах не закрылись зеленые ладошки кувшинок, еще вчера тянулась длинными нитями в воздухе паутина, и на тебе — снег!

Сквозь тихую, снежную завесь весь мир кажется оробевшим, и мелькают, мелькают блики зелени. А вон впереди в неподвижном белом царстве полыхнули огоньки. Подходим ближе и видим запламеневшую рябину. Пугливое дерево — рябинка, оно раньше других почувствовало приближение снега и поспешило окраситься в осенний цвет. С грустным шорохом опадают багровые розеточки с рябин и одиноко, печально светятся на белом, но еще не ослепительном снегу. Холода-то настоящего еще нет, и снег не серебрится.



Но вот поредел снег. Больше, больше зелени перед глазали, и, наконец, мы видим лес, небо, хмурое небо в мохнатых тучах, меж которыми лишь кое-где видна бледная просинь. А на берегах бело, и оттого река кажется темной, неприветливой. Тени скал в ней не отражаются, как летом.

Утки тронулись в путь. Летят низко над рекой, большими стаями. Садятся на голые обмыски, прячут головы под крыло.

Снег быстро тает, на глазах оголяются бугорки, с зеленых листьев берез и мягких лап пихтача падает густая, громкая капель. Весь лес заполнен шорохом, щелком и треском. Капель. Студеная, нерадостная капель.

Но что это? Перед нами огромные зеленые звезды! Такие звезды можно увидеть только в лесу и только после ранней

выпадки снега. И еще такие звезды можно увидеть в мороз, на окне, сказочные звезды папоротника, только звезды те меньше и белые они.

А здесь? Здесь они раскидистые, зеленые, пахучие.

Рос папоротник развалистым пучком. Пал на резные листья тяжелый снег, приклеил их к земле. Распростерлись зубчатые огромные звезды, звезды таинственного, сказочного папоротника. Я как-то слышал еще в детстве: если найти цвет папоротника и взять его в руку — станешь невидимкой. Сейчас, глядя на волшебные звезды, я верю этому. Я верю всему, что связано с лесом. Каких только чудес здесь не бывает!

Но трудно найти цвет папоротника, очень трудно. Еще никто и никогда его не находил.

Папоротник цветет в сказках...

Однако долго любоваться звездами нам было некогда: мы спешили к ночи добраться до охотничьей избушки. А идти по Койве трудно. Берега у нее скалистые. Река петляла. В одном месте Койва сыграла с нами злую шутку.

Мы, срываясь на обрывистых берегах, обходили большую дугу. Впереди появилась скала. Никак ее не обойдешь. Тогда мы перебрались на другую сторону реки по перекату и взошли на гребень увала. Забрались и обнаружили, что увал этот, как огромный палец, выдался в реку, и нам нужно было у начала петли перевалить через гору каких-нибудь двести-триста метров и не делать этого изнурительного обхода почти в пять километров.

Но на Урале и не такое можно встретить. Это край чудес, и надо его хорошо знать, чтобы ходить верными тропами.

РАНЬШЕ ЗДЕСЬ ЗВОНИЛ КОЛОКОЛ

Скоротечны осенние сумерки. Еще мазок зари на небе не стушевался, а в лесу уже темно. Лес плотней, деревья как бы сдвигаются плечом к плечу, и чем ближе к комлям и корням, тем гуще смоль темноты.

Я прибавляю шагу. Впереди лес чуть редеет, и угадывается просвет. Быстро, быстро к редколесью, подальше от наседающей тьмы. С треском я врываюсь в густые и хруст-

кие заросли малинника, распустившегося кипрея — и останавливаюсь.

Идти дальше некуда. Впопыхах я сбился с тропы на тракторный волок, подернутый травой, и вот он, этот волок, привел меня в старую лесосеку, и здесь ему конец.

Слушаю, озираюсь. Слушать уже нечего. Дневные птицы спят, а ночных птиц осенью немного, да и те, что есть — помалкивают. К этой поре отрастают зубы у всех молодых зверушек, и попробуй пикни — вмиг отпоешься.



В небе одна за другой прорезаются звезды. Это хорошо. Я пойду по звездам. И надо же было крутануть совсем недалеко от города! Это из-за беспечности. В другой раз буду внимательней.

Итак, Полярная звезда, Малая Медведица... Все это прекрасно — и Полярная, и Малая, но ведь я могу уйти и в обратную сторону! Я же плохо знаю звездную карту, и все-таки, все-таки это надежней, чем идти вслепую.

Итак, Полярная звезда, Малая и Большая Медведицы...

Но что это? Там, над темной грядой гор, почти на зубцах леса горит еще одна звезда, очень крупная и очень яркая. Может, это спутник? Может, пока я бродил по лесу, с корзинкой, отыскивая грибы, наши снова запустили в космос спутник или еще чего-нибудь похитрей?

Но звезда не двигается и не мерцает. Она горит спокойно, уверенно, будто бы века горела на этом месте. Что за невиданная планета объявилась в нашем небе?

Не замечая, что делаю, я иду напролом на эту спокойную, тихо зовущую звезду. Меня покидает чувство растерянности, и я совершенно успокаиваюсь, и только не спускаю глаз с крупной и яркой звезды.

Кто же зажег ее для меня! Но почему для меня? Ее зажгли для всех людей, плутающих в потемках, сбившихся с пути в поздний час. И я иду на этот верный маяк. Я уже догадываюсь, что это.

Это светит ретрансляционная телевизионная станция. Ах, какие скучные названия дают люди тем чудесам, которые творят своими руками! Ретрансляционная станция! И не выговоришь разом. А я бы назвал ее новой звездой. И как же иначе? Она зажглась в уральском краю, в краю шахтеров, железоделателей и лесорубов, в краю вечных тружеников, глядевших только в землю. Это для них загорелась звезда, чтобы и они, и дети их подняли голову и смотрели ввысь, в небо, только ввысь, только в небо, и никогда-никогда не плутали в потемках.

Я иду на звезду, деловито несущую службу. Густой, пугающий темнотою лес остается позади. Выхожу на высокую гору, вижу ручьи и потоки огней, среди них, на своем месте, чуть повыше доменных печей, светит и светит новая звезда, которая вела меня домой.

А раньше здесь — в этом старом уральском городе — звонили в церковный колокол, если человек терялся в тайге и не являлся домой к ночи.

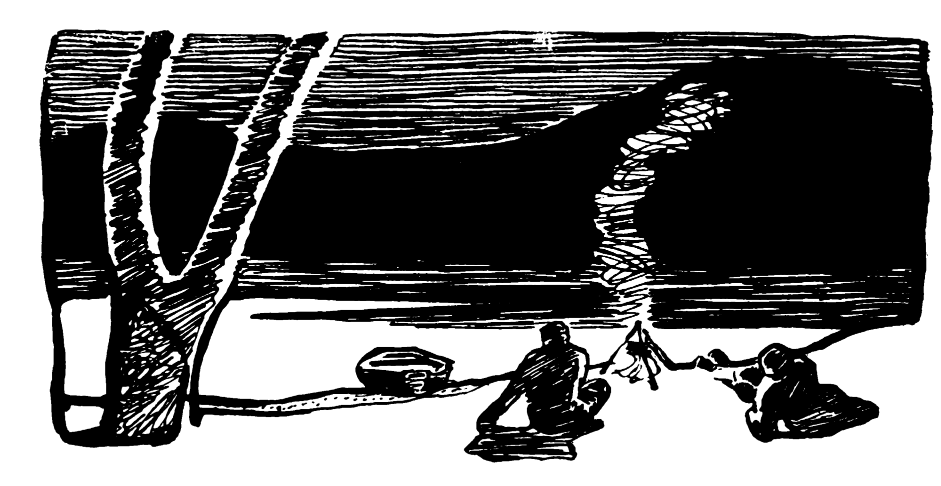
АХ ТЫ, НОЧЕНЬКА!

За дальней горой садится солнце. В небе ни одного облачка. Только марево у горных вершин, мягкое, бледное к середине неба, золотит голубизну, наряжает высь в призрачное сияние. Легкие, ненадоедливые блики падают на широкое плесо. И оно млеет от собственной красоты, наслаждается покоем.

Рыбки безбоязненно выходят на поверхность. То в одном, то в другом месте по глади расплываются ленивые круги.

Низко, почти касаясь белыми брюшками воды, проносится парочка уток. Заметив нашу лодку, утки взмахивают наверх, заваливаются на правое крыло и, облетев нас, снова снижаются.

Далеко на болотах деловито курлычут журавли. Возле берега суетятся заботливые трясогузки. Одна из них присела на нос нашей лодки и с независимым видом ощипалась, встряхнула хвостиком.



Тишь, покой и такая благодать кругом, что хочется сидеть неподвижно и слушать, слушать.

Но мы рыбаки, и мы добросовестно, даже с азартом хлещем по тихому плесу блеснами. Поклевок нет. Напарник мой нервничает.

— Такое плесо! Такой вечер — и не берет! Тут что-то не то.

Я и сам удивляюсь не меньше его. Делаю заброс к узкой горловине, в которую сливается плесо и за которой волнуется перекат.

Резкий толчок. Поклевка! Начинаю быстро подматывать лесу, рыба сопротивляется, вываливается наверх, взбурлив воду, и... сходит.

Жалко, но ничего. Теперь-то уж мы знаем, что и здесь, на тихом плесе, есть крупная рыба.

Поднимаюсь на лодке до нашего стана и снова начинаю стегать плесо справа налево, слева направо.

Откровенно говоря, пора уже разводить костер и варить уху.

«А уха-то ходит где-то в воде и на блесну смотреть не желает», — размышляю я, равномерно сматывая лесу на катушку.

Вдруг рядом с пучком тростника, высунувшимся из воды, что-то шлепнулось, оттуда очумело метнулась пичужка, а затем расплылись дугой валы.

«Ага, кумушка пиратничает», — отметил я и, унимая дрожь в руках, швырнул туда блесну. Всплеск! Поворот катушки — и вот она, милая, заходила, загуляла.

— Ага, попалась!

— Чего у тебя? — раздается издалека голос напарника.

Я подвожу к лодке щуку, с ходу поднимаю ее на удилище и забрасываю в лодку.

— Уху поймал!

— А у меня пусто, — слышится унылый ответ.

Мне жаль напарника.

— Ничего, друг, не горюй, еще поймаешь!

Я поплыл кашеварить и, отталкиваясь шестом, затянул:

Сидел рыбак весе-о-олый
На берегу реки-и...

— Не ори ты там! — раздраженно крикнул мой напарник, уже перебравшийся по перекату на другую сторону протоки.

Вот и огонек разгорелся, а напарника моего все нет. Я нарубил веток для подстилки, выбрал из остожья немного прошлогоднего сена под бок. Жду, растянувшись на траве.

Темнеет...

На фоне бледной зорьки проступают пики острых елей. Здесь леса сделались как бы гуще, сдвинулись плотнее. Замолкли птицы. Лишь неугомонные кулички, радуясь тихому летнему вечеру, завели свои игривые, убыстряющиеся в полете песни: «Киви... киви... киви-киви-киви».

Их много, этих куличишек, на наших русских реках. Люблю я их, длинноногих, голосистых. Они приносят с собой охотничью весну. Они своим пением подгоняют ручьи, до самых дальних гор провожают вечернюю зорьку и делают побудку среди речной пернатой армии по утрам.

Дотлела зорька. Кузнечики прибавили прыти. Их многоголосый трезвон слился в единую бесконечную музыку. Темнота обступила костер. Вокруг него виднеются бледные пят-

на цветов. Эти желтые цветы на Урале и в Подмосковье называются купавками, а в Сибири — жарками, потому что в Сибири они огненно-яркого цвета и светят в траве, как жаркие угли.

Сибирь! Родина моя! Далекое и вечно близкое детство, ночи у костра и пахнущие летом цветы — жарки, и песни куликов, звон кузнечиков, и такие же, как сейчас, мечты о томительно-далеком!

Ах ты, душа рыбацкая, неугомонная и вечно молодая душа мечтателя! Сколько запахов впитала ты в себя, сколько радостей пережила ты, сколько прекрасного, недоступного другим, влилось в тебя вместе с этими ночами, вместе с теми вон далекими, дружески подмигивающими тебе звездами...

Ах ты, но-о-оченька-а,
Но-о-очка те-о-омная —

опять затягиваю я, забыв о своем напарнике, о рыбе, которую пора спускать в котелок, обо всем на свете. Унимаются кулички, замирает все вокруг, только темная ночка слушает, как я славлю ее, как печалюсь вместе с нею и как радуюсь ей.

Шуршит трава. Появляется мой товарищ, заглядывает в котелок и молча берет весло, на котором лежит разрезанная на куски щука. Спустив рыбу в котелок, он садится на траву и подтягивает мне:

Только есть у меня
Добрый молодец...

Вдали слышен рокот мотора. Он нарастает.

— Товсь! — командует по-моряцки напарник, и я, похрустывая суставами, поднимаюсь с травы.

Браво насвистывая, идет моторист, который подбросил нас сюда по пути на лесоучасток. Идет он уверенно, как человек, превосходно знающий здесь каждую тропинку и кустик. Он сразу же возникает в свете костра, чумазый, веселый, бодрый. Вот такие они и бывают чаще всего, рыбаки — компанейские, бескорыстные и задорные ребята.

Без стеснения он подсаживается к нашему костру, чокается с нами эмалированной кружкой и провозглашает:

— За знакомство!

— За знакомство и за эту ночь, — обвожу я вокруг себя рукой.

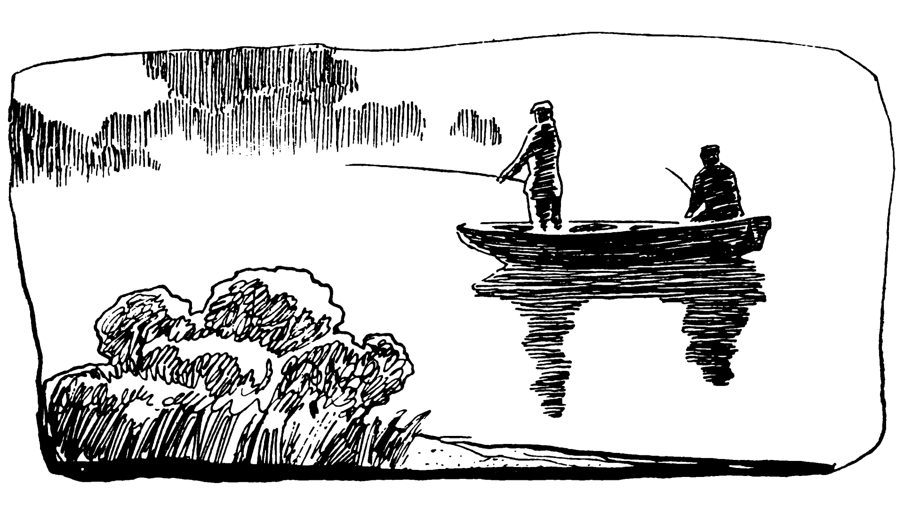
— Правильно! — поддерживают меня мои друзья.

В душе мы все — поэты.

ЗЕМЛЯ ПРОСЫПАЕТСЯ

Городского человека по утрам чаще всего будит какой-нибудь шум: звон будильника, гудок, грохот колес, сигналы автомашины, а то и гром посуды, уроненной стряпухой на кухне... Не часто нам приходится просыпаться от тишины.

Да, да, от тишины.



Вот как это бывает или, точнее, как было в то утро. Сон неуверенно и медленно уходил от меня. Организм привык, чтобы его что-то взбудоражило и разом стряхнуло сон. А тут — тишина. Тишина и прохлада.

Устал ждать. Неуверенно открыл глаза и увидел над головой зеленый куст ивы, усыпанный каплями росы. Трава, цветы опились за ночь влагой, поникли их стебли и головки. Они тоже отдыхали, ожидая солнца.

Я приподнялся, сел. Над водой снежной поземкой летели клочья тумана. Задевая кусты, туман застревал в них, густел, как бы окуривая зелень седым дымом.

Молчали птицы, молчали кузнечики, даже рыба спала и не играла на плесе. Сон и туман окутали все вокруг.

Однако рыбаку спать в такое утро — непростительный грех. Хочу толкнуть товарища в бок, но он тоже смотрит во все глаза, смотрит, слушает.

Я бегу по траве к берегу, оставляя за собой темные полосы. Сапоги мои блестят от росы. Забредаю в воду. Из прибрежной осоки заполошно сигают малявки. Сонный окунишка запутался в траве, забился, в панике выкинулся на кочку. Он растопырил все колючки, готовый защищать свою маленькую жизнь. Но никто на него не нападал, и он бочком, бочком соскользнул в воду, да как помчится по самому верху, прочеркивая гладь поднятым гребешком.

И вот мы снова среди плеса, немножко вялые со сна. Делаем первые забросы. Лодку кружит и медленно несет по течению. Я подматываю блесну. На тройнике усом висит трава, блесна не играет. Отцепляю траву, замахиваюсь для второго заброса, но слышу тихое: «Ша!»

Товарищ мой глазами показывает под склонившийся над водой черемушник, где расходятся плавные круги.

Я вглядываюсь пристальней и вижу парочку уток, вероятно, ту самую, что пролетала вечером над нами. Селезень, поистративший свою весеннюю красоту и изрядно отощавший, безо всякой опаски кормится, то и дело погружая в воду голову. А утка окунется, почавкает и тут же озирается, покрякивая. Можно даже догадаться, о чем она говорит своему непутевому супругу. Дескать, вечно вы, мужики, такие. Ни заботы, ни печали. Поесть, выпить да выспаться всласть — вот вся ваша забота. А нам приходится крутиться, как заведенным: яички снеси, потом детишек расти, переживай за них, да еще на кормежке тебя, беспутого, карауль.

Селезень вынул из воды голову, крякнул раздраженно, не переставая закусывать, и мы поняли это так:

«Довольно тебе ворчать! Вот пила! Срок охоты кончился, а ты все еще трусишь!» — «Понадейся на тебя, так быстро в котелок браконьеру угодишь. Он, браконьер-то, не больно сроки признает», — отвечала рассудительная и недоверчивая утка.

Так они перебранивались между делом, а нашу лодку наносило все ближе и ближе на куст.

Я залюбовался труженицей-уткой. Нелегкая у нее доля. Супруг утки действительно худой помощник и страшный эгоист. Он франт не только по виду, но и по духу. Если уж он завел жену, то требует от нее полной и безраздельной любви, заботы и внимания. Он даже не хочет знать никаких родительских обязанностей. Если заметит, что утка гнездо вьет, — раскидает его и утке трепку задаст. Вот утка и ублажает его, караулит на кормежке, а потом на ночевку опре-

делит и клювом ему все перышки переберет, весь гнус из них вычистит и жиром смажет. А когда супруг благодушно уснет, она потихоньку уйдет в кусты и скорее, скорее гнездо делает. Не дай бог, если супруг обнаружит яйца или даже утят — все расклюет и детей не пощадит.

Право же, есть доля справедливости в том, что весной разрешают бить селезней, а не уток. Этакому утиному «стиляге» самое место в похлебке.

Лодка у самого куста. Утка заметила ее черный силуэт, выдвигающийся из тумана, отчетливо крякнула и побежала по воде возле стенки осоки. Селезень бестолково огляделся и, видимо, не совсем уразумев, в чем дело, ринулся за ней.

Быстрая парочка взметнулась над черемушником и ушла от реки, на лесные озера. Жалко, что будущая мать не успела как следует поесть.

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

Мы рыбачили и так увлеклись, что не заметили дождя, мелкими шажками подкравшегося к нам из-за леса. Он густел, расходился, и вскоре на протоке сделалось тесно от пузырьков, которые, не успев народиться, лопались и расходились кружками. Дождь был так густ, что ветер не мог пробраться сквозь него и сконфуженно залег в лесу.

Мы заторопились и поплыли к островку, где был хвойный лес, окруженный со всех сторон покосами. Мы схватили рюкзаки и бросились к пихтам. Под ними лежала рыжая сухая хвоя. Дождь сюда не проникал. Но мы уже вымокли и продрогли. Не хотелось шевелиться. Однако надо было разводить костер. И с великим трудом мы его развели.

А дождь прибавлял прыти. Огромная черная туча наползла на реку, и в одну минуту стало темно. Затем дождь разом прекратился. И тут же порывы ветра понеслись по реке, морща и волнуя воду. Сверкнула нервная молния, прогрохотал гром, и ветер опять сник.

Стало тихо.

Только крупные капли, скатываясь с мокрых смолистых ветвей пихт, звучно шлепались о широкие сморщенные листья чемерицы, уже пустившие по четвертому побегу, да с

той стороны реки доносилось тревожное блеяние коз, пасшихся в лесу.

Молнии зачастили. Они прошивали насквозь темную тучу яркими иглами и втыкались в вершины гор, то отчетливо видных, то исчезавших во мраке. Гром грохотал почти беспрерывно.

Мы ждали бешеного ливня.

Но удивительное дело — грозная туча спустила на землю тихий, грибной дождь, а сама, громыхая в отблесках молний, поплыла дальше, волоча за собой пушистый раздвоенный хвост. Этот хвост чисто смел все на своем пути. Снова появилось голубое небо с умытым и довольным ликом солнца.

И разом ожило все вокруг: запели птицы, затрещали кузнечики, мимо нас пробежала шустрая мышка. Мы сбросили задубевшие плащи. Туча была далеко. Она уползла за перевалы и все еще метала яркие стрелы, но звуки грома до нас уже не доносились.

СКАЗ, ПОВЕДАННЫЙ РУЧЕЙКОМ

Начался ветер, понес тучи, которых за горами скопилось множество. И солнце, еще не успевшее высушить росу, мелькнуло раз-другой, скрылось за лохматыми, многослойными глыбами. На дальних болотах закричал журавль, сожалея об исчезнувшем солнце.

Мы с товарищем принялись искать удобное место для стоянки, но ничего подходящего не нашли пока. Неожиданно на взлобке, поросшем травой, мы увидели деревянный крест. Рядом с ним бушевал и пенился желтоватый ручеек. Желтоватым он был оттого, что вытекал из ржавых болот. Мы причалили и подошли к кресту. Это была могила. Бугорок по соседству с ней, сплошь покрытый желтыми цветами, свидетельствовал о том, что здесь когда-то стояла избушка. Мы присели возле креста и задумались. Кто здесь похоронен? И почему здесь? Ведь деревня совсем недалеко, и там есть кладбище.

Глухо шумели березы и ольхи, которые родственно сомкнули ветви над могилой, а рядом картавенько наговаривал ручеек, словно хотел поведать нам простую и совсем не та-

инственную историю. Историю эту подтвердили колхозники, которых мы расспросили о безымянной могиле.

Жил-был человек. Сильнее всего на свете любил он Урал с его лесами, горами, реками и речушками. И когда кончились партизанские походы, сменил этот человек боевую винтовку на охотничье ружье и поселился жить на берегу диковатой, но богатой и уютной протоки Солоной. Срубил он себе избушку рядом с ручейком и по утрам умывал лицо студеной, попахивающей болотным торфом водой. Вместе с ним жила в избушке его верная и вечная подруга. Принесла ему подруга троих сыновей. Выросли эти ребята крепкие, здоровые и не боялись ни лешего, ни медведя, ни темной ночи. Они умели косить, пахать, рыбачить и стрелять.

Когда грянула война, братья ушли на фронт. Метко стреляли там врагов, ловко пробирались по лесам, в тыл врага и так «нежно» брали «языка», что он и пикнуть не успевал.

Долго бродила похоронная на первого сына, пока добралась до лесной избушки. Так долго, что когда дошла до стариков первая, в дороге уже находились еще две. А когда все три похоронные пришли в избушку, слегла старая мать и больше не поднялась. Старик сам сколотил ей домовину и уплавил в лодке в деревушку. Там, после похорон, помянул ее старик в кругу кумовей, крестников и друзей. А друзьями у него были все жители деревни. За свою долгую жизнь старик каждому жителю оказал какую-нибудь услугу: давал рыбы, мяса, помогал в страду на пашнях и на покосах.

В те тяжкие дни войны он все рыбачил, рыбачил и каждую рыбку сдавал в колхоз. Люди не знали, когда спал старик. Упрашивали его переселиться в деревню: одиноко, мол, тебе в избушке, но он отвечал, что «сросся душой с избушкой своей».

Шло время. Суше, медлительнее делался старик. Годы согнули его. Стали слезиться глаза, не знавшие очков, облысела голова, похрустывали суставы от болезни — ревматизма. По утрам старик медленно выходил из избушки, слушал издавна привычный напев ручья, щебет птиц и шорох листвы над головой.

Колхозники стали все чаще и чаще наведываться к старику под разными предлогами. И однажды нашли его мертвым.

На старом деревянном столе лежала квитанция, где было отмечено несколько пудов рыбы, сданной недавно в колхозную кладовую. А на оборотной стороне корявыми печатными

буквами написано несколько слов. Это была последняя просьба старика — похоронить его рядом с избушкой.

Не хотел и не мог старик расставаться с природой. Она вошла в его душу навечно. Без нее не мыслил он себя.

И вот лежал старик под зеленым холмиком, над которым распускалась и опадала листва, рождались птицы и приветствовали утро своими тонкими голосами.

Неугомонный ручеек рассказывал всем простую историю о человеке, для которого природа была матерью, домом, богом. Ручеек замолкал только зимой, а с весны и до осени говорил, не спрашивая о том, слушают его или нет.

Его слушали...

ТРОПА

Еще спит село. Внизу, на реке, дотлевает костер у парома. Окна в домах не светятся, и собаки не лают: набрехались, обессилели за ночь. Лишь далеко-далеко тарахтит сплавщицкий катер.

Но вот село уже далеко, и звуки с реки не доносятся. Только шуршит под ногами моими кошенина, и ровно, как заведенные, поют столбы на дороге.

Вдали, за изгибом реки, маковым цветом набухает рассвет. Он пробился из тьмы, вцепился яркими корнями в зубцы лесистых гор и начал быстро зреть, накаляться, угоняя с небес темноту, разметая пугливые тучки.

Тропа незаметно отделяется от дороги в том месте, где начинается спуск. Словно бы не по пути им — шумной дороге и тихой тропке, которая задумчиво и одиноко течет по лесу, поперек ложков, то петляя, то выпрямляясь.

После мелкого соснячка, который сейчас кажется плотным, густым, жутковатым, тропинка юркнула в большой, сомкнувшийся в вершинах лес. Невольно замирает сердце. Но до тех пор, пока не ступил в лес, не врезался в темноту. Скоро протиснется сюда рассвет и раздвинет лес.

Вот уже проступают вершины в небе, обрисовываются деревца, бестолково выскочившие на тропинку. Застигнутые врасплох тихим светом, они растерянно замерли, опустили ветви.

Одна за другой окрашиваются в красный цвет высокие ели, и на них вспыхивают и мгновенно сгорают искорки инея.

По правую руку поля — частью скошенные, частью нет. Тропинка на секунду выбегает к ним и, словно испугавшись света, снова ныряет в лес. Но рассвет гонится по ее пятам, преследует. Еще никогда не бывало так, чтобы тропинка или дорога успели сбежать от рассвета. Где-то они все равно повернут друг другу навстречу.



И человек, идущий по дороге, непременно, лицом к лицу, встретится с зарей. На то он и человек, чтобы глазами глядеть в глаза утра...

Я смотрю, я дивлюсь ему — этому вечно юному, вечно бодрому, румяному утру, которое не старится с годами, которое все так же свежо, все так же радостно, искристо и улыбчиво. Но когда глядишь в ясные, до боли родные, до сладости щемящие глаза русского яркогубого утра, жаль чего-то становится...

Это годы дают себя знать, годы. Конечно, я еще не старик. Но очень уж трудна, очень сложна была наша жизнь. То, что мы сделали, то, что мы повидали за тридцать-сорок лет, иным поколениям и в триста не уложить.

Жизнь бросала нас из края в край, она разлучала нас с родной природой, и, вместо того, чтобы вот так смотреть в

русское небо, встречать утро в лесу, нам приходилось ходить в бешеные атаки на рассвете, гнать врага по чужим дорогам, обсаженным подстриженными, чопорными деревцами.

А мы тосковали о лесе! О нашем, русском лесе, где можно запросто заблудиться, где по колено уходят ноги в мох, где даже в знойный день бывает прохладно, где зорко следят за охотником злые глаза рыси, где пугает на малинниках визгливых баб добродушный зверь — медведь, где возами возят грибы, где лопатой гребут ягоды, где ветви гнутся от кедровых шишек, где лес качается от птичьих песен...

Русский лес — земная красота, есть ли такие слова, которыми можно было бы рассказать о тебе, воспеть тебя! Наверное, есть, но я не знаю их, я не нахожу таких больших, таких прекрасных слов, которые были бы равны тебе по силе и величию.

Я иду навстречу утру, и пощипывает у меня в горле, и кричать мне хочется, но я молчу. Я счастлив и оттого молчу. Я уже не тот маленький, далекий мальчишка, который прыгал и орал от восторга, заслышав утреннюю песню зорянки. Нет, я умею молчать, я умею по-взрослому радоваться. Я просто иду, я просто дышу, я просто смотрю, я просто слушаю, как чисто и звонко заливается зорянка, самая любимая моя птичка.

А из-под ног моих с тяжелым хлопаньем снимается черный тетерев с белыми подпушками у дугастого хвоста и летит стремительно по тропинке вперед, выше. Вот он взмыл над кустами и черной пулей пробил огненную зарю и расплавился, сгорел в ней.

Я не успел выстрелить. Ну да ладно, еще настреляюсь, еще целый день впереди, еще с утром не разминулся. Оно вот все полыхает на небе, оно добирается до каждого деревца, до каждого листика, оно заботливо ощупывает их, сушит мягкими губами, и листья розовеют, зажигаются огнем.

Утро тянет за собой светлый день — труженик на ярко сверкающих медных канатах. Для него, для этого великого работяги, оно расчищает дорогу, славя его птичьими хорами, выкатывая на вершину горы накаленное, лобастое солнце, чтобы все время они трудились бок о бок — горячее солнце и светлый день.

Утро грянуло и отзвенело птичьими голосами!

А тропинка течет, как дума, дальше и дальше, она манит, она ведет, и нет ей конца, как нет конца миру живому, мысли живой, красоте земной — великой!

СОДЕРЖАНИЕ

СТРАНИЦЫ ДЕТСТВА

ДЫХАНИЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Виктор Петрович Астафьев
ВЕСЕННИЙ ОСТРОВ

Рассказы для среднего и старшего
школьного возраста

Редактор *Р. Белов*
Художественный редактор *М. В. Тарасова*
Технический редактор *Г. А. Калашникова*
Корректор *И. Л. Пархомовская*

Подписано к печати 28/VIII 1964 г.
Формат $60 \times 84^{1}/_{16}$ 8,25 бум. л. 16,5 печ. л.
Уч.-изд. 13,745 л.
ЛБ08316 Тираж 15 000 экз. Цена 61 коп.

Пермь, типография № 2 управления по печати
Зак. 839.